

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 39

1987



*Алесь АДАМОВИЧ*

# МОЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 39

Алесь АДАМОВИЧ

# МОЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ

РАССКАЗЫ, ЭССЕ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1987

Алесь АДАМОВИЧ

*Алесь Адамович (Александр Михайлович Адамович) родился в 1927 году в белорусском селе Конюхи на Случчине. В годы войны был подпольщиком, партизаном. И большинство его произведений об этом, о военном времени: романы «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой», «Хатынская повесть», «Каратели».*

*Алесь Адамович соавтор известных документальных книг «Я из огненной деревни», «Блокадная книга». Выступает как публицист, эссеист, критик.*

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Гость . . . . .	3
Неподвижность . . . . .	7
«Мут» по-немецки означает «мужество» . . . . .	14
Моление о будущем . . . . .	23
Логика ядерной эры и литература . . . . .	26
Живой человек на живой земле . . . . .	32
«Какой представляется вам проза (литература) будущего?» . . . . .	43

Алесь АДАМОВИЧ

МОЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ

*Рассказы, эссе*

Редактор Е. Ф. Олейник

Технический редактор Т. Е. Авдеева

---

Сдано в набор 13.07.87. Подписано к печати 01.10.87. А 00438. Формат 70 × 108<sup>1/32</sup>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.  
Учетно-изд. л. 3,43. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80000 экз. Изд. № 2393. Зак. № 1006.  
Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина  
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© Издательство «Правда». Библиотека «Огонек». 1987.

## ГОСТЬ

*Даже видом ты не подобен  
чистым ангелам,  
каких встречал я,  
и знака не знаешь,  
знамения тайного.*

*Грехопадение.*

*Английская средневековая поэма.*

Он вошел ко мне неслышно, хотя дверь свою (хорошо помню) на ночь я защелкнул на замок. Сидя за столом, как вот сейчас над бумагой, вдруг ощутил спиной, понял: там кто-то стоит! Оглянувшись, а он икнул...

Значит, я пишу рассказ.

Все как у людей — эпитафия, даже «из цикла» — ну а дальше? Как они пишутся, проклятые?..

Романы — это всякому начинающему известно. На худой случай повесть — тоже просто. Места, разгона вдоволь, пиши — куда-нибудь выведет.

А рассказ — начал, и тут же кончать надо. Стометровка! Ищешь, что под стопу, от чего оттолкнуться: даже в идеальном виде не подобен.

Вошел, но я ведь точно дверь на замок закрывал. И где мог узнать мой новый адрес? А вид у него был...

Но что всегда мешает, так это знание, в какой части головы, лба это совершается. А вам не мешает? Тоже, конечно, читали, знаете: слева от переносицы в отдельной башне сидит логик, ученый муж, писарь. А в правой башне — фантазер, мечтатель, лунатик. Грубо говоря, слева — «прозаик», справа — «поэт».

Я так даже открытие совершил: отчего, например, поэты обращаются с годами в прозаиков. Лета клонят?.. Тоже, конечно, объяснение, но не совсем научное. Все дело в этих самых башнях: поэт живет в правой, а все письменные приборы и занятия, дела находятся и совершаются

в левой. (Там, где прозаик устроился.) Во времена Гомеров и акынов как это происходило? Поэт оповещал о своем свидании с девой Музой со стены крепости, с балкона, с крыши сакли. Не бежал к столу, чтобы письменно оповестить об этом читателя. ( П и с ь м е н н о — в этом вся причина.) Поэты бегают, бегают в соседнюю башню да и застрянут там!..

Но в конце концов не об этом рассказ. И не наша это забота — судьба поэтов в век прозы. Как сказал кто-то из древних: «Хорошо проснуться утром и вспомнить, что тебе не надо беспокоиться о целостности Римской империи!»

Не надо о рифме думать — напрягаясь, строго равнение, размер держат. Даже о своих собственных завязках-развязках прозаику, рассказчику сегодня можно не заботиться.

Садись и пиши, как все происходило. Особенно если было это на самом деле. Как в моем случае. Происшествие вполне реальное: с адресом (Москва, Медведково), с датой, временем события (рано поутру 7 июня 1964 года).

В Медведкове еще не было прорыто метро, и он, конечно, поверху приехал автобусом. И, наверное, полупустой был автобус, сонный — не позже семи поутру. Я почему-то взглянул на часы, когда, вскочив со стула, показал ему: проходите! садитесь! Ничего и не оставалось мне: он прямо-таки рванул к столу, когда я на него взглянул, как бы боясь, что его вытурят.

— Садитесь! — Но сам быстренько оглядел стол: нет ли тяжелого предмета, который можно опустить мне на голову. Со мной такое уже проделали, двадцатью годами ранее. Тоже оказались наедине, голова к голове — рубили в партизанском лесу дровишки, звонкие, сосновые круглячки, — я поднял глаза, а его, вчера задержанного возле лагеря незнакомца, рука взвешивает тяжесть топора, остановившийся, примеривающийся взгляд — на моем темени!..

Значит, когда я оглянулся — вскочил из-за стола! — он икнул. И раз, и второй, и третий. Представляете: вы сидите, работаете полураздетый, не замечая времени, а тут кто-то появляется у вас за спиной и начинает икать! Стыдливо, виновато. Тоже полуодетый, между прочим. Верхней рубашки на нем не было, из-под пиджака голубела несвежая трикотажная, нижняя. И папочку такого же заношенно-голубоватого цвета протягивал мне виновато.

— Тут отзыв... И-и-к, и-и-к... Я вам все объясню, все, все объясню!

Рванул к столу, я запоздало показал на стул, которым он уже завладел. И только после этого я спросил, почти выкрикнул:

— Как вы вошли?

— ...Из «Невы» отзыв... на бланке.

И протягивает бумагу. Действительно, на бланке. «Ваша повесть не лишена... Но наш профиль, наш переполненный портфель...»

Все ясно. Дверь я все-таки не закрыл вечером как следует. Но мысль, очень противная, зябкая, уже промелькнула. И даже зацепилась за сорок третий год. Даже не то что псих какой-то по темени тебя

чем-либо тяжелым, а что потом лежал бы и неделю и вторую — один... Пока хватились бы. Адреса моего нового еще не знают ни в Минске, ни в университете на Моховой. За квартплатой хозяйка приходит первого числа. Мы и переехали сюда первого числа, т. е. я и ее мебель. Хозяйка моя, решительная мужеподобная «разведенка», живущая у родителей, разменяла Перово (где я у нее снимал такую же однокомнатную) на Медведково, один дальний, без метро конец Москвы на другой, такой же.

— Кто вам дал мой адрес?

Не отвечая на вопрос, он назвал мою книгу, хотя и искаженно.

— ...Это ваш роман?

Я все-таки его поправил — название он произнес приблизительноное — и снова поинтересовался, как он узнал мой адрес.

— На работе сказали.

— Где?

Вместо ответа:

— В вашем романе есть знак.

Час от часу не легче.

— Знак? Какой знак?

— Вы, пожалуйста, выслушайте, — он страшно заторопился, хватаясь за какие-то клочки бумаги в своей папочке, — я все по очереди, выслушайте!

— Я ведь не работаю в редакциях и не смогу помочь...

— Нет, нет, я не за этим, просто показал, чтобы вы знали, что я не сумасшедший. Но это не имеет значения, какой я. Я долго голодал, должен был бросить работу, сидел целый год в библиотеке, в Салтыковке.

— Вы из Ленинграда?

— Да. Но теперь еду из Вешенской. Три дня дождался, ходил вокруг, он вышел в сад, увидел меня за забором: «Знаю, знаю», — и ушел.

Еще бы. Не ты один его осаждаешь. И все с гениальными романами, идеями.

— Ага, — догадался я, — и у него знак! Это как понимать? (Я быстренько отыскал в ворохе книг и положил перед ним свой роман, минское издание.) Тут напечатано что-то? Или между строк?

Он глянул на книгу, но не притронулся. На меня, развеселившегося, посмотрел опечаленно, с укором.

— Можно, я по порядку, вы мне разрешите? Выслушайте, пожалуйста... Существует заговор, всемирный, и надо, пока не поздно... Погубят всех, понимаете, всех! Я знаю, кто у них главный... Надо, пока не поздно...

Ну вот, приехали! Так тебе и надо, нашел чем забавляться — болезнью этого несчастного. Но как теперь его выпроводить? Утро потеряно. А так хорошо писалось!

На какие деньги он ездит в такие концы? И когда ел в последний раз? Глаза запавшие, как из колодца, нос торчит, но щеки побриты.

— У вас кто-нибудь есть, семья?

— Брат. — Ответил неохотно, как о совсем неинтересном. — Он в Гродно живет.

— В Гродно! — обрадовался я. И веселая мысль мелькнула: «Ну, Вася, держись! Поломаешь и ты голову, есть ли знак и какой он у тебя!»

— Быкова вы читали?

— Нет.

— Ну как же вы! Обязательно, обязательно прочтите! А что если к брату вам поехать? И заодно с Василем Быковым познакомитесь.

— Брат меня не любит. Он меня не хочет видеть... Вы, наверно, не поняли, я плохо объяснил. Это я плохо объяснил! Позвольте, я подробно, только не торопите меня...

— Нет, вы напрасно! Если у кого есть знак, так это у Василя... Езжайте, не пожалейте. В Гродно все знают его, покажут. И с братом поведаетесь. Брат есть брат. Купим билет, и завтра будете там. Сейчас мы на вокзал, а то у меня скоро лекции в университете, надо ехать. Купим билет, позавтракаем, поговорим...

Мой гость молчал опечаленно, даже сухой блеск в глазах его стал пропадать, гаснуть.

А хозяин, как и всякий врущий — никаких дел в университете у меня не было — стал говорлив и оживлен сверх меры.

Гость явно меня не слушал. Он смотрел, точно оглушенный. Будто по темени его стукнули.

Выходили — я еще раз оглядел замок, дверь: вот так захлопнул вчера. Исправно клацает, как бульдог.

Автобус, слава богу, был, как обычно, набит пассажирами, так что можно было молчать. Когда шли к вокзалу, мы переглянулись несколько раз. Он с надеждой, угасшей, но еще тлеющей: «Нет же, не может быть, чтобы и ты!..» Я с заботой здорового о больном: «Сейчас мы купим билет, посидим, и все будет хорошо, все идет, как надо!»

Билет купили легко, сразу. От завтрака отказался.

— Спасибо. Я не хочу есть.

— Ну как же!

— Спасибо, не надо.

— Жалко. Ну, мне надо бежать.

Я протянул руку и должен был сам взять его руку (он будто не заметил моей), а когда наши пальцы встретились, вдруг сжал мои и не отпустил, хотя мои уже разжались. Еще на что-то надеялся — и рука его, и глаза.

Я улынулся и отчалил. К метро радиальному, мне ведь до Свердловка на Моховую. («Надо было и на еду ему оставить! Конечно, не поедет он в Гродно, сдаст билет, и будут деньги, а если мне вернуться, он начнет снова...») Я заспешил. И в самом деле съезжу на факультет, раз тут оказался. Потреплемся с Робертом о кафедральных делах. Кажется, кафедру литератур народов СССР расформируют, сольют с советской...

Время катится, как с горы. Скоро двадцать лет с того дня, не верит-

ся! Но не ушел ни тот день, ни взгляд последний, когда странный гость удерживал мою руку и смотрел умоляюще. И себя вижу, убегающего.

Где он сейчас, бедняга? Что с ним? Спрашивал у Быкова: нет, не приезжал, у него не появлялся. Наверное, уехал к себе в Ленинград. Или еще куда, к кому-нибудь. Все еще надеясь, как в тот последний миг со мной. У кого он сейчас и кто от него убегает?..

1983

## НЕПОДВИЖНОСТЬ

С ним такое приключиться могло. Как говорится, на него это похоже.

До поступления в ленинградское ФЗО и аэроклуб был он ростом «недомерок», из числа тех, кто в любой компании на пятых ролях и тем не менее нужен всем — незлобностью и почти щенячьей жизнерадостностью. Они и обидчивы бывают, даже очень, но мы-то знаем, как близко на их лице, в глазах прячется улыбка, с какой охотой они переходят от острой обиды снова к шумной беззаботности.

Самое заметное на его ни разу за всю жизнь не расплывшем, не округлившемся лице — голубые глаза-щелочки. Брызжущие голубизной треугольнички. Даже у шестидесятилетнего, когда глаза начинают выцветать, делаются водянистее.

Вырастал он на Бобруйщине, песчаной и, часто случалось, бесхлебной, но леса там грибные, ягодные, войдешь — слюну гонит погребной дух! Каждый, от мала до велика, мог сам расстараться, чем рот заткнуть. А уж когда и лес не выручал, надежда все равно была — на бульбочку, всегдашнюю спасительницу белоруса. Даже в партизанских наших ленивых подначках — кто какой и кого как издавна называют — в обиду ее, родную, белорусы не давали. Про язык наш — что он вроде бы «третий лишний» — будто не расслышим. Про колтун полешуцкий от неумытости нашей и болото до самого порога — смолчим. Но как только запоет, бывало, занает Носов Гриша на мотив довоенных частушек: «Белоруссия родная, бульба дробная, гнилая!..», так ему сразу и со всех сторон: «Гнилая, да всегда есть! А у тебя там — год густо, два пусто!..»

Но это к слову пришло. Он-то, наш предвоенный фэзэошник, в партизаны не попал. Вошел в тот статистический миллион, который Белоруссия-партизанка держала на фронте.

До войны форму фэзэошника он носил, как папину или старшего брата. Роста не прибавлялось и на ленинградских харчах. Но когда приняли в аэроклуб, что-то случилось с его природой: как подпрыгнул. Может быть, от сладких мыслей, какая форма — летчицкая, лейтенантская! — ждет его.

Сколько их, наших земляков-подростков из Белоруссии (по доступным мне сведениям, несколько десятков тысяч), оказалось, осталось

в блокадном Ленинграде. Когда, работая над «Блокадной книгой», я услышал, что ребята из ФЗО торф продавали и тут же показывали, демонстрировали, что вот, мол, можно его есть, что ничуть не хуже, такой же сладкий, как «бадаевская» земля, сразу подумалось — наши! Они с мые. Какой-нибудь доходяга полешук или бобруйчанин. Ребята эти, наши и не наши, умирали «первым эшелонам». Далеко от семей, хотя все еще дети, как его, паек тот блокадный, делить на части, не съесть в один присест, когда так хочется есть и когда столько соблазнов: за кусок хлеба можно костюм, ботинки купить, каких в жизни не видал! Так и умирали с новыми ботинками под подушкой...

Но нашего фэзэошника судьба готовила для иных испытаний. Авиация и стала его судьбой — перед самой войной перебросила его на юг, к Кавказу. Летал летчиком-штурманом, и уже не один месяц, и даже не один год. В который раз самолет подбили. Тянули изо всех сил на посадку и сели бы, пожалуй, но у самой земли колесами крышу сарая заделали — и пошли куврыкатся! Прозрачный из плексигласов нижний «фонарь», в котором сидел штурман, оторвался, покатылся уже и совсем весело: далеко опередил саму машину, ломая-доламая кости нашему бобруйчанину, ничего им, костям, не оставалось делать, как ломаться, крошиться все мельче и мельче...

Как и кто его подобрал, не помнит. Очнулся — показалось, что он все еще в своей штурманской коробке, только сузившейся до размера и формы скафандра. Так оно и было, на нем был почти скафандр, только гипсовый. Даже на голову вывели от затылка наверхи гипсовые, охватив уши. Но глаза могли смотреть, а нос дышать. Вокруг все чем-то заняты, толкуются, кого-то приносят или уносят, много женщин в фуфайках, а мужчины в окровавленных халатах. Их снизу (лежал на полу) рассматривали, изучали голубые треугольные щелочки глаз.

— Ничего у меня не было, ни рук, ни ног, ни живота — только голова плыла от запахов лекарств, крови...

Тело вернулось, возвращалось, когда переставали действовать протившоковые уколы, а потом снова — уплывало. Начинало чесаться нестерпимо. Узнал, куда отправляют, куда его повезут, а от соседей-раненых услышал, что там мрут как мухи! В пересыльных пунктах и госпиталях своя система оценок и информации, к этому прибавилась еще и неотступная мысль: попасть именно в тот госпиталь, куда увезли (узнал про это) Кустышева, pilota, которого тоже живым выдрали из покореженного чрева самолета.

— Ну, я и решил...

Решить-то решил, но как сделать, осуществить, когда тебя замуровали, когда спеленали по рукам и ногам. Глаза, однако, светились, рот шевелился, а они все молодые, украинки-подсобницы из близких деревень, а он все-таки летчик и все вроде бы очень здорово и логично для их семнадцати-восемнадцати лет: там у него друг, а там — мрут как мухи (они тоже слышали), но главное, в глазах и в голосе летчика столько надежды на них, девчат, и озорства, несмотря ни на что...

Уговорил: когда понесете к путям, заверните в первый, какой увидите, барак и оставьте носилки там. А дальше моя забота!

Отправляляя эшелоны с ранеными ночью, все еще остерегались немецких самолетов, хотя и не так, как в сорок втором или сорок первом, и вот понесли и нашего земляка — из заросшей кустами балки к разбитой станции, к вагонам. Но где-то там свернули в ночную улочку, толкнули дверь в первый попавшийся барак — не запрето! Тихонько поставили на пол носилки в темном, как нора, коридоре, чьи-то пальцы, чьи-то губы прощально пошарили по его лицу и исчезли из его жизни навсегда. Как уже многие за войну люди появлялись и исчезали.

А утром (это легко представить) жильцы того барака не сразу даже поняли, разобрались, чей это гость ночует, очевидно, не нашлось места в тесных клетушках. Кто-то первый разглядел, что не раскладушка тут, а самодельные носилки и что гость весь забинтован: одни глаза да острый нос живые, да хриплый голос. На вопрос, чей он, из какой комнаты, голос живо отозвался:

— Ваш, бабоньки, а что, разве не признали?

И дальше — все в классической манере инвалидного трепа (не через один прошел госпиталь за войну). И его действительно сразу за своего признали. Не престо раненый, а мужчина появился в бараке, в котором одни бабы да детишки, если не считать однорукого железнодорожника. Тут же им все и объяснил: куда и как путешествует, какой у него план и что требуется от них. Всего лишь узнать, какой эшелон отправляется в нужную сторону, внести его в вагон и там оставить. А дальше его забота.

Днем в бараке оставалась одна-две старухи да пацаны не отходили: поили его чаем, настоящим на вишневом листу, да кормили консервами, которые отсыкались у него под одеялом. Потом появилась худенькая женщина, прибежала с работы на обед, наклонилась лицом совершенной девчонки над ним и, покраснев, прошептала:

— Куда тебе ехать такому? Оставайся у меня.

Ну, я ей, чтобы не обидеть: положи мне (показал подбородком) вот сюда адресок свой. Обязательно вернусь, приеду.

А тем временем план все обсуждался, все уточнялся. Пацаны носились между одноруким железнодорожником, который дежурил на вокзале, и женщинами барака, время от времени раненому сообщали, какие и куда поезда ожидаются — в его сторону. Расписания, конечно, никакого не было, действовала лишь интуиция однорукого. Вечером он появился сам:

— Ждут, пошли. Целуйтесь, бабы, — когда вам еще пошантит — с летчиком!

Действительно, их ждали на дальних путях, кондуктор тут же на стук открыла дверь в темный вагон, носилки пришлось поднимать чуть не стояком, шум возник, и женщина-кондуктор рассердилась и всех прогнала, как только занесли и поставили на нижней полке носилки. Бабы все-таки успели дать самые важные указы своему человеку да и кон-

дуктору заодно. Но пацаны постарше не уходили от «своего» вагона, а потом бежали следом за перегоняемым к вокзалу составом и торчали там до самого отправления, чтобы можно было сообщить бараку, что их гость наверняка уехал, куда ему надо.

Измученная многосуточным ожиданием толпа уже изготавилась к штурму поезда, люди тут же облепили вагоны со всех сторон, некоторые, не медля, взобрались на крыши вагонов. (Может быть, и та бабка с козой, которая, говорят, догадалась привязать козу себе за ногу вместо того, чтобы за трубу, и что из этого получилось, когда паровоз гуднул во всю глотку да дернул состав — этот сюжет после войны по всей стране странствовал.)

Хватаясь в полной темноте за стенки и окна вагона и меча сумки, чемоданы, мешки на уже занятые полки, которые яростно отпихивались человеческими ногами и руками и матерились и мужскими, и женскими голосами, кто-то первый нащупал нахала, который один разлегся на всю полку. Весь вагон, даже те, что уже сидели, сами не веря в удачу, отозвался на пронзительный крик возмущения:

— Он что, правда, лежит?

— Спать человек приле! Не мешайте!

— Кондуктор, подушку ему!

— Чаю!

— Вышвырнуть нахала, чмурия!

Но когда все-таки поняли, разобрались, кто, и зачем, и почему, «как пан», лежит, хозяин того первого крика получил сполна и сверх того:

— Нет чтобы посмотреть хорошенько!

— Сам небось фронта и не нюхал!

— Надо еще разобраться с этим крикуном, может, какой полицией!

— И мешок, эй, у кого мешок сперли, не твой у него мешок?

Как прежде барак, так здесь весь вагон обрел на всю дорогу тему для споров, заботу, цель: кондуктор объяснила, где и когда нужна пересадка, начали рабочую команду сколачивать. Но все не просто: эшелон, конечно, остановится на «надцатых» путях, сколько простоят, час или две минуты, знать это невозможно, кому охота застрять еще на две недели. А как с вещами собственными? Уедут. А еще вернее — уплывут. Тут же услышали поучительную историю, каких в войну и после слышались все.

Например, про знаменитого хитреца-майора, который нарвался на еще большего хитреца, мастера вагонных дел. Спит или притворяется, что спит, наш майор, а тот пристроился, хромовый сапог с него стаскивает (это ж надо, нахал!). Подергивает мягко, нежно-вопрошающе: чуть-чуть еще можно? Ну, ну, тащи, мы тебя с полицным! Тихонько стацил наполовину, оставил, за второй принялся. Это чтобы сразу цапнуть оба, сдернуть — и драла!

На одних голенищах уже держатся сапожки на майоровых ногах, свисают с полки, икры ног в армейском «диагонале» напряжились — вскакивать, когда наступит момент!..

А тот, что хлопотал возле ног спящего, не сапоги, а чемоданы — цап и к тамбуру! Вскочил на ноги майор и запутался в голенищах. Пока сдергивал сапоги, пока то, се — нет чемоданов...

Вот какие мастера, а ты говоришь: иди, мы посмотрим! Тут вцепись-держи обеими руками — уплывут.

Спорили-собачились, спорили-веселились, не умолкая и час и второй, и вдруг команда: подъезжаем, выносить! До тамбура носилки добрались как бы сами, своим ходом — выкатились по рукам тех, что сидели, лежали в проходах. А у вагона снаружи уже новый людской прибой, через него пришлось прорываться: объяснять всем и каждому некогда. Понесли, побежали, где огибая составы, где под вагоны, ползком, чем больше времени уходило, тем нетерпеливее, рискованнее бросались прямо под шевелящиеся колеса, а когда влетели в длинное здание пакгауза, приспособленного под вокзал, тут уж, конечно, не смотрели, на кого наступают, кого с обжитого места гонят.

Куда-то приткнули носилки и сами назад! Так что вокзальная публика со сна и дорожной усталости не разобралась поначалу, что произошло. Потревоженно заворчали, а когда разглядели, кого и какого им подбросили, а сами — только их и видели! — тут уж такое посыпалось на головы убежавших, их собственные и особенно матерей, что никакая бумага не выдержит.

— Я им: ша, мужики, тихо, бабоньки! Те люди тут ни при чем. Я сам по себе путешествовую, сам себе санитар.

Не прошло и десяти минут, как обнаружилось, что в парадном углу пакгауза, у наскоро прорезанного окошка — надо же, такая удача! — свои. Летчики. Громкие уверенные голоса, смех, флаги, меховые куртки с молниями. Они сами как-то почувствовали, определили, что раненый из их братии — и тут что началось! Казалось, солнце ударило из всех своих орудий по окошкам, расширило их и проломило новые. Сон у людей пропал в самых дальних углах грязного пакгауза, все сгрудилось вокруг тех, у кого праздник. А летчики будто и не замечают никого вокруг, но молодые голоса их стали еще громче, смех раскатистее, фляга заходила из рук в руки энергичнее, а когда поднесли и раненому, приподняв его носилки, словно для общего обозрения, и он звучно, даже глаза зажмурил, всосал, казалось, даже старый пакгауз крикнул от удовольствия. И засмеялся.

Растрепанные, одетые кто во что, но все точно не в свое, некрасивые от бесконечной войны женщины, сонные и все равно глазастые детишки, как на свет, тянулись к недосыгаемому, особенному миру, поспать куда — для этого надо быть счастливым, вроде этого загипсованного.

...А ведь помню и я: когда наконец мы протиснулись за фронт, шестнадцать из трехсот пытавшихся (они нас протолкнули, а сами остались там: кто в земле, а кто вернулся в наши партизанские леса), и я потом остался на всем свете один возле рассыпавшегося на горелые глыбы и кирпичи Гомельского вокзала, пацан с мешком, которым месяц назад

обзавелся — некуда уже было распахивать автоматные патроны и гранаты, столько вдруг у нас этого добра появилось, выменивали у красноармейцев на все, на что могли, и даже воровали, — а теперь в мешке том горбатился первый в жизни казенный паек, полученный по бумаге Нобелицкого отдела Центрального штаба партизанского движения, и когда вся Россия, аж до запредельного, которым отмеривали, отмечали мысленно, до о к у д а м ы — Владивостока, вот она вся перед тобой, можешь ехать куда и сколько хочешь, билета все равно не покупай, денег не положено, поскольку ты не командир и в отряде не с 1941 года, а все близкие тебе люди отрезаны фронтом, остались в Белоруссии или неведомо где, помню, очень помню, как вдруг тоскливо позавидовал такому вот загипсованному. В окне санитарного поезда увидел его с подвешенной на растяжке ногой: лицо бледное, с печальными страдающими глазами. Но у человека есть на земле место — вагонная полка, рубашка на нем белая-белая, незавшивленная, и простыни, простыни... Не только тело мое его исхудавшему в той казенной рубашке с завязками, но даже ноги мои его подвешенной позавидовали. Своих ног я больше месяца, пока толклись и ползали возле фронта, вживе не видел, не разувался, портянки, наверное, сгнили...

И уж заодно: помню, как смотрел на грязный, заплеванный кусочек пола в здании вокзала, вдруг открывшийся моим глазам между сонных, мертво неподвижных тел. Так, наверное, в другие времена кто-то увидел бы тяжелую пачку денег, а ленинградец в блокаду уроненный кусок хлеба!..

Там, тогда цена всему была своя, и нужны немалые усилия памяти, чтобы цену ту снова ощутить.

Но вернемся к нашему счастливчику. Ему и еще раз повезло. Обнарилось, что летчикам надо в том же, что и ему, направлении. Тут он даже уснул, так ему стало легко на душе, беззаботно. На этот раз даже зуд под гипсовым панцирем не мучил. Не слышал, как и в вагон занесли. Кто-то все время постукивает по его панцирю, осторожно, ровно, будто просясь войти. Нет, это он в кабине самолета, а снаружи желтогрудая синичка коготками удерживается как-то за скользкий плексиглас, взмахивая, помогая крыльшками, и просится-постукивает клювиком. Если в твое жилье влетит птичка, жди, что побывает в нем и смерть — известная примета, об этом он помнил, а потому рассматривал гостью с любопытством. Какая она смешная, трогательная — эта деревенская смерть! Ее давно спугнули, отогнали черт знает куда когтистые коршуны войны, а она вдруг вернулась, жди, и постукивает, просится. Ну, иди, иди сюда, глупышка! — приложил изнутри ладонь к плексигласу — где-то здесь есть «веко», которое можно сдвинуть, открыть. И проснулся. Свет горит, поблескивает потолок, стены: воинский вагон. Весело бегущий поезд постукивает колесами на стыках, покрикивает вполголоса, как бы опасаясь потревожить спящих на его полках. И голоса, тоже приглушенные, наверну.

— Слышу, говариваются насчет меня: как в госпиталь доставить и в часть свою не опоздать. Я им: ребята, не ломайте голову! Ваше дело вынести меня на перрон — поставили и быстренько смывайтесь! Чтобы никто не заметил. А дальше я знаю как.

Эшелон приостановился возле каких-то сараев, и только дощатый перрон свидетельствовал, что это полустанок. Носилки спустили, вчетвером их подхватили и, пригнувшись, — туда, к перрону. И таким же мальчишеским манером шмыгнули в свой вагон, последнего на ходу подхватили.

А наш земляк остался один — лицом к широкому прохладному небу. Смотрел на бегущие облака, сухой гипс и затекшая спина еще ловили, отзывались на далекое постукивание колес, но слух уже переключился — упивался немислимой, совершенно довоенной тишиной. Она недолго длилась. По доскам застучали шаги, уверенные, начальственные. Ага, появился, тут, главное, не упустить момент. Первым открыть огонь.

Что это, остановился? Далеко остановился, наверное, поражен: откуда и как оказались тут носилки с человеком?! Далеко, не стоит начинать — расходовать боеприпас. Снова шаги, но они сделались тише и реже.

Скошенные глаза наконец поймали фигуру в деревенской свитке, но с красной фуражкой на голове. Лицо изображает крайнее изумление, человек еле ноги переставляет, только пылающая фуражка и ведет, заставляет кое-как двигаться...

— Почему никто не встретил? — и сразу мат-перемат, голосом как можно более противным, на инвалидном визге: — Сволочи! Те сволочи бросили и укатили, а эти и не думают встречать! Была же телеграмма! Это почему?

— Не... не было телеграммы.

— Как это не было! Приказано с машиной встречать. Или с подвой. Как собаку!.. Звони в госпиталь, раз так!

— А как же, я сейчас, сейчас!..

Вроде переборщил. Нет, что ни говори, а госпитали — это школа, наука!

Уже совсем другим голосом подсказал, куда летчики засунули сигареты: дай-ка мне и сам закури, а потом будешь звонить. Там где-то еще и фляга. Есть, не утащили? Они такие. Убежали, курвы. Ладно, с прибытием! Не суетись, комендант, поспеем, как у нас говорят, с козами на торг. Залей горячего, так будет вернее. Раньше в свою, чтобы руки не дрожали. В мою потом.

— Тишина, знаете, кругом. И сумасшедшая, знаете, мысль: скажу — и он сделает! Все, что прикажу. Неси пилку, стамеску, топор, наконец, вызволяй меня из этого проклятого зуда, в который меня заковали. Страшнее костей поломанных! Мысль, знаете: вызволит, я встану и пойду...

— Представляете — неподвижность! Весь фильм — через неподвижность. И устремленность прямо-таки нечеловеческая. Лишь глаза человеческие, и в них — все!

Когда мы остались одни, без АТК, рассказчика: только Элем, я и Лариса — она это произнесла своим характерно высоким, с хрипотцой голосом. Только что в Минске с подачи все того же АТК (наивная зашифровка его имени-отчества-фамилии в телефонных разговорах) счастливо решилась судьба ее «Восхождения», первую нарочанскую щучку — и какую! — подцепила на привилегированную «дорожку» она, Лариса, впереди виделись бесконечная дорога жизни, череда фильмов, изнурительное счастье работы, работы...

А десять лет спустя, прочитав эту историю, еще одна женщина удивилась и упрекнула:

— У вас тут ни слова о боли. А у него же каждая косточка пополам!

— Знаете, он только про нестерпимый зуд, а про боль ни слова.

Что сам рассказчик не вспоминал, какая адская боль его терзала, — это можно понять и объяснить. Но ты, ты, писатель-сопереживатель, отчего ты о ней не вспомнил, не напомнил, забыл?

Сам герой, наш АТК, прочел рассказ, уже напечатанный в «Октябре», и он его разочаровал. Недостаточно веселый получился. А там что еще было: медсестра, молодая, исключительно грудастая, когда наклонялась поправить подушку, постель, всякий раз хлестала его по щекам — слева направо и назад да так умело, вроде бы и не нарочно — этими своими исключительными грудями.

— А я покорно подставлял правую, когда меня ударили по левой. Как настоящий христианин. Врач потом мне объяснил, что это он предписал такую процедуру. Чтобы мужик не зачах от неподвижности.

Да, было все: и боль, и горе, и невыносимая несправедливость, нестерпимая жестокость. Но мы знали, что мы бессмертны, род наш. В этом все объяснение. Мы все еще помним о прошлой боли, помним и столько пишем. Но есть, есть и это, а чем дальше, тем заметнее станет: все, что было, когда мы были бессмертны, видется будет счастьем. Как бы ни протестовала против этого сама память.

1984

## «МУТ» ПО-НЕМЕЦКИ ОЗНАЧАЕТ «МУЖЕСТВО»

...Лето 1945 года. Вот и такая еще примета победного года: в пришестных бараках напротив стеклозавода «Коминтерн», построенных четыре года назад нашими военнопленными, которые все до одного лежат в длинных, запавших траншеях у леса, — в бараках в этих живут те-

перь немцы-военнопленные. Немцы с голодухи не пухнут, не вымирают. И не в том лишь дело, что норма казенного пайка приемлема. Другое поразительно: жители нашего рабочего поселка, которых еще недавно эсэсовцы, да и простые вахманы избивали и готовы были застрелить за попытку передать советским военнопленным кусок хлеба или сыра, теперь подкармливают их, немцев. Сильно полинявшие «сверхчеловеки» предлагают в качестве обменного товара свои самоделки, вырезанные из коры, алюминия, дерева. Это наиболее инициативные. А большинство просто вымалывают — тихим голосом, всем обликом своим, так непохожим на вчерашний...

Наша мама, еще не сменившая партизанских сапог на что-либо более женское (из довоенных вещей ничего такого не сохранилось, а купить — нигде да и не на что), снова работает в аптеке заведующей, а это означает, что, если ремонт аптеки, надо искать работника в собственной семье, то есть бесплатного: казенных, «отпущенных» денег едва хватает на материалы, краски.

Этим занят я — в первое победное лето. Налаживаю аптечное хозяйство. Меня надоумили, что в лагере военнопленных можно взять себе помощника: надо рыть во дворе под погреб яму, из бревен наготовить плах, выложить ими стенки, настелить крышу-накат. Пошел и привел шестерых в серо-зеленых мундирах. Трое, неловко толпясь, ковыряют, бросают влажный прохладный песок, трое не знают, чем заняться, потому что самое тяжелое делает сам хозяин. Заметно хвастаясь своим обнаженным торсом, студенческим загаром, умением, исходит трудовым потом над смолистым бревном.

Помощники мои выглядят неумехами, на удивление несообразительными. Будто в жизни никогда топора-колуна, клиньев не видели, что и как с бревнами делать надо, не разумеют, не видели и не знают, как сооружают хотя бы землянку в один накат.

Бывший мой одноклассник Володя Игуменов (никак не привыкну, что у него нет одной руки) смотрел-смотрел на дружную работу нашу и громко полюбопытствовал:

— Слушай, а кто тут пленный?

Нет, не было в нас чего-то. Или было что-то лишнее, чего я во всяком случае не замечал в них, когда они водили пленных на работу...

Подошло время обедать. Плечные, конечно, ожидали, что я их отведу в лагерь, но к нам вышла в своем белом халате мама и сказала как что-то само собой разумеющееся:

— Я там поставила обед. Сами. Мне некогда.

И ушла в аптеку. Квартира наша была в этом же здании, только вход не от шоссе, а со стороны огорода.

Нет, она оставалась верной себе, наша мама. Всякий гость для нее — Гость. С большой буквы. А тем более если он — работник. Раз уж приглашает, на стол ставится все, что есть в хате, в кладовой. Иначе она не умела, не понимала.

В семи тарелках свекольно-сметанный, нежного румянца белорусский холодник с плавающими кусочками прозрачного льда! (Вот этого не знаю, не помню — откуда лед взялся, где она могла достать.) Домашнего копчения ветчина, темная до сизого блеска, с пьянищим запахом, с детства памятным и, казалось, напрочь забытым! (Спросил потом: откуда? где взяла? Кто-то из знакомых принес в подарок, из деревни.)

А возле тарелок — серебряные ложки. (Довоенные сохранились и только потому, что, уходя в лес, в партизаны, в ту тревожную мартовскую ночь 1943 года, долго не размышляя, швырнули их вместе с медицинскими книгами отца в подпол — в заранее вырытую яму, в тяжелый бабушкин сундук. Были уверены: а, все равно немцы, «бобики» вынюхают! Выгребут тотчас, злобно матюгаясь в адрес аптекарки, «бандитки», которая столько месяцев бургомистра и самого коменданта водила за нос, всех их одурачила своим «культурным», своим «интеллигентным» видом. Не нашли, хотя в доме нашем даже караулку полицейскую оборудовали и жили больше года. А те вещи, которые практичная наша мама заранее пристроила, спрятала получше и подальше — в деревне, у знакомых теток, — б л и ж е не оказались вопреки пословице. Пропало все.)

После обеда мы снова готовили яму под погреб, разбивали бревна на плахи, и мои помощники теперь всё, всё понимали, что от них требовалось.

А назавтра, когда снова пришел во двор лагеря, все шестеро призывно улыбаясь из шеренги, беспокоясь, что я перепутаю и возьму кого-нибудь другого, «чужих».

Второй обед проходил в присутствии хозяйки, и это надо было видеть, как влюбленно мои немцы смотрели на партизанку. «Данке», «данке шен» звучало даже чаще, дружнее, чем голодное звяканье ложек, вилок о тарелки.

В нашем доме появились какие-то безделушки, лагерной работы головастики-гномы.

А потом произошел разговор, сразу возвративший всех нас куда-то туда...

Шли к лагерю, довольные друг другом, а по обе стороны «варшавки» все напоминало о недавнем: вот за этой сосной напротив аптеки стоял я, затаившись в ночи, когда уходили в партизаны, с чемоданчиком, куда мне положили хлеб, а я впахнул и однотомник Пушкина... А в том длинном здании под красной крышей помещались комендатура и тюрьма. Стены снизу почернели от земляной сырости: их обкладывали бревнами, засыпали песком на высоту человеческого роста. Лес-то напротив. Чтобы отодвинуть лес, валили дубы, за которыми мог затаиться партизан. А по этому шоссе 7 ноября 1941 года гнали (избивая и стреляя упавших на глазах у поселковцев) бесконечную, как немислимый бред, колонну людей в ошметках военной формы, после того как ночью сожгли, перебили в бобруйских казармах восемнадцать тысяч наших военнопленных...

Конечно, все это «никс гут», война «не хорошо», «шайзе», «дрек», тут мы и русские, и немецкие слова понимаем одинаково и употребляем их одинаково энергично. Мои помощники даже с большей горячностью: войну-то выиграла не они.

Но вот что тоже нехорошо, так это ваши (т. е. наши) партизаны. Мирные жители не имеют права брать, носить оружие. Есть международные правила, законы...

А Франц, самый рыжий, веселый и лучше, чем остальные, соображающий по-русски, добавил, что это не по совести. Почти так и сказал.

Лица у моих помощников, как только заговорили о партизанах, сделались по-крестьянски упрямые. И как-то знакомее стали...

— Да ведь и она — партизанка! — вскричал я торжествуяще. — Ну, хозяйка аптеки. Моя муттер.

Замолчали. Глянули все разом на меня как-то испуганно. И даже, показалось, с ненавистью: словно отнял я у них что-то. До самого лагеря не произнесли больше ни слова.

Ушли от меня, не оглядываясь — по настилу из сосновых и березовых столбиков-стоячков, которыми лагерный двор ровненько, под линейку когда-то выстлали наши военнопленные. Те, что догнивают в могилах-траншеях у леса.

На следующий день я их снова разглядел издали, всех шестерых — по знакомым улыбкам.

Когда пошли обедать, неловко толпились у порога, веки отяжелевшие, мешают смотреть хозяйке в глаза. Хотя «данке шен» звучит даже чаще прежнего. Мама окинула последним взглядом хозяйки стол, гостей и ушла в аптеку. Она, конечно, не заметила ничего такого. А я все ждал на что-то ответа. Голоса помощников моих сразу сделались громче, зазвучал смех огненно-рыжего Франца. Но оставалось — даже мне передалось на миг — опасение, что женщина войдет и снова будет всем не по себе, тягостно. Небось, вчера всю ночь спорили, думали, что-нибудь да поняли...

Но я недолго заблуждался. Как светом резануло: да нет же, они не стыдятся, не стесняются, они смертельно обижены! Эта женщина выманила у них уважение, почти влюбленность, а сама вон кто — партизанка! «Бандитка!» Так обидно наказаны за свое прекраснодушие, доверчивость! Любопытно, что они никак не отреагировали на открытие, что и я тоже — «бандит». Я их, выходит, не обокрал, на меня они нисколько не потратились.)

А это уже наши дни — 1982 год. Встреча партизан Рудобельщины — «по месту дислокации и боев». Нас все меньше на этом свете, но на праздники приезжает все больше людей. К следующей дате удастся ли, придется ли? Приехали и самые дальние, из Сибири, из Молдавии, с Кавказа. Мы и наши горячие, взаимные, разговоры, официальные речи — повод для жителей округи тоже собраться, поглазеть, потолкаться и потолковать возле выездных буфетов, в собственных компаниях.

В торжественных речах попеременно имена погибших и передовиков производства, названия мест и стран, где похоронены наши земляки. (Вот как это обернулось, Коласово, его строки: «куды ні трапяць беларусы» — действительно, где они только не побывали! А у нас, в наших братских могилах, — кого только, чьих только нет...)

А затем начинается главная часть праздника, ради чего и едем: мы остаемся одни. О, это сложное чувство, наше уединение, — не только радость встречи, не одна только радость. Намешано всего, всякого. Но, может быть, и ради этого едем.

Конечно, с нами на поляне, на просеке или на берегу речки и кто-либо из руководства района, но это дела не меняет: мы наедине с нашим прошлым. Понятные лишь нам названия мест, вспышки-даты, имена — в выкриках через весь «стол». А «стол» — метров пятнадцать — двадцать. По траве растянута белая дорожка обоев, заваленная, заставленная едой и бутылками — кто что привез или докупил на месте, — мы усаживаемся, пристраиваемся на всю длину и по обе стороны, друг против друга. Через узкий «стол» чокаться удобно, близко, даже когда сидишь на корточках или лежишь на боку. До остальных можно докричаться, если не жалеть голоса. И голоса никто не жалеет, женщины особенно. Женщины-партизанки — неизменные энтузиастки таких встреч. Только в первые минуты обмениваются новостями о семье, о внуках, а там — все о том, как было да что было. И молодеют на глазах...

Им и мужикам-бойцам хорошо в этих поездках. Но штабы все еще что-то довыясняют. После войны некоторые товарищи взялись делить славу, добытую в боях, да так увлеклись этим делом, что уже слышать друг о друге не могут. А тут, пожалуйста, и видеть, и здороваться за руку приходится. А тем не менее ждут этой даты, и, может быть, с особенным нетерпением.

Вот и наш «Иван-окруженец» да сидящий почти напротив командир отряда — им бы и впрямь лучше друг друга забыть. Не о славе, о жизни таяба.

— Расстрелять меня приказал, когда я в отряд пришел. Если бы не вступились начштаба да комиссар. Думаешь, кто после войны посадил его с секретарства? Мне пусть спасибо скажет. Взял и написал, как женка его в столовке свиней откармливает и продает. Ну нет, я ему этого не прощу!..

«Окруженец», конечно, постарел, погрузнел, а потому стал как бы ниже ростом, но самое характерное в нем осталось: внешне медлительный, веки приспущены, но когда вскинет глаза и глянет вот так в упор, вспомнишь, каким он был, когда появился в нашем поселке. Меня не во все посвящали, но когда появлялся у нас в доме или просто я слышал, что он здесь, — черный, как цыган, примак из Покровок (или, как мы его называли, «Иван-окруженец»), я знал: случится, затевается что-то волнующе опасное! Это он прирезал старого злого, как сатана, немца из охраняемого лагеря, который больше других измывался над военнопленными.

(Полуживые люди тащат тяжелую обледенелую бочку с водой, впрягшись в телегу, а старая скотина — зубы большие, желтые, как у коня, недобро оскаленные — шагает сбоку и палкой, палкой по головам, по чем поало!) Второго немца партизаны увели с собой, а потом долго не знали, что с ним делать. Поверить ему не могли, поскольку не сам перешел, его выкрали, за фронт переправить не просто, а вместе с тем все в округе знали, что этот немец, офицер Шмаус, был доверчиво, до смешного добр со всеми, а нам, пацанам, даже «Интернационал» наигрывал.

Но если одного все знали, одного все запомнили, не много, значит, таких попадалось. А потому и Шмаусу пришлось платить по общему счету. У Гриши Носова, который это на себя взял, была нетерпеливая присказка, собственная, принесенная из плена: «Не нужна мне их доброта, мне еще надо за зло рассчитаться!»

Погиб и Гриша Носов, зарезали его власовцы, которым он однажды поверил, хотел помочь перейти к партизанам. Ведь он и сам перебежал из власовской армии — ему тоже поверили.

— Вот, гляди — герой наш! — «Иван-окруженец» нет-нет да и взглянет в сторону бывшего командира нашего. Совсем он старичок (не старик, а именно старичок), наш бывший, может, оттого, что на лице совершенно не растут волосы. И тогда, видимо, не росли — на румяном, молодом, — но всегда он казался чисто выбритым, наглаженным. Да и то сказать: другие командиры в штабе были все как на подбор военной выучки, и ему, вчерашнему бухгалтеру, приходилось тянуться за ними.

Мне почему-то жалко его. Как бы уловив это, Иван делается еще упрямее в своем непрощающем чувстве:

— Он окруженцев иначе не называл, как «красавчики» или «те, что фронт про...ли». Хотя это окруженцы сами сделали его командиром. Когда хлопцы пришли из Бобруйска, думали, местный, все знает, и он им какую-то бумажку показал, что оставлен. Потом разобрались, а кому с командирства уходить охота? Нашла коса на камень. На дух окруженцев не выносил. Герой!

Словцо это «Иван-окруженец» произносит с нажимом, чтобы напомнить еще и про историю, которая то ли была, то ли нет, теперь уже и не выяснишь. Говорили, что бухгалтер наш сразу по освобождении сжег наградные листы отряда. Рассчитывал на Героя — не дали: а раз так, тогда никому и ничего!

Хлопцы потом на фронте дополучили свое и, если вспоминают про все про это, то с веселым удивлением, не больше.

— Слушай, ты там в газетах свой человек, — глаза Ивана заблестели по-другому, человек сразу посветлел лицом, — надо разыскать родственников Августа. Все-таки не у каждого немца сын или брат — белорусский партизан. Он из Магдебурга — Август Мут, у него, кажется, были там кто-то, точно были. Мать, сестры, что ли. Еще как были! Когда нас прихватили, он только и повторял: «Казнят! Их казнят!»

Меня уже не было в отряде, когда к нам перешел немец Август Мут. Саперная его часть как раз в поселке Коминтерн была расквартирована, отсюда и ушел, его забрали, обставив все так, будто силой утащили, увели. «Иван-ограбленец» да еще Пелагейка (вот и Пелагейка маячит над всеми, как раз что-то выразить нам с Иваном желает — улыбкой во всю широченную физиономию да поднятием стакана выше головы), они не раз ходили с Августом к Бобруйску и в сам город, проворачивали какие-то рискованные дела вокруг аэродрома. Но однажды их нащупали возле нашего поселка Коминтерн, немцы обложили лесок, в котором они дневали, — об этом случае мне рассказывали в поселке еще в 1945-м. Год всего лишь меня не было, а уже легенды о безымянных людях, которых я-то знал: о двух или трех партизанах, с которыми и немец был, как они полдня отстреливались, а партизан-немец — с дерева, пока их всех не перебили.

Тем с большим интересом слушал Ивана.

— ...Август решил все-таки посмотреть, куда прорываться, есть ли возможность. Ель густая стояла, он взбираться, они бьют вслепую, а тут посыпались лапки на нас, Август вскрикнул, Пелагейка еще успел подхватить...

Он и здесь успел, подоспел, Пелагейка — этаким Гулливером переступил через «стол», оказался на нашей стороне, огромный, улыбающийся, и сразу вмешался:

— Вы о ком, об Августе? Чуть шею мне не свернул!

И повел шеей своей, вслушиваясь, цела ли.

— Таковую и женка не перепилит! — оборвал его Иван. — Ноги перешибло очередью, он сразу: «Ваня, гранату, скорее, кадут нам всем, меня узнают, гранату!» У него и своя граната была, для себя приготовленная. К поясу которую привязывали, ты знаешь. А ему надо, чтобы вот так — к лицу, чтобы не опознали. «Казнят их! Казнят! Скорее, Ваня!» Мы с Пелагейкой: мол, отобьемся, вынесем, а он одно знает: «Казнят! Скорее, скорее!» Спешил страшно, страшно боялся, что не успеет... Не надеялись, не знали мы, что по-дурному повезет: полиция коминтерновская на помощь немцам пришла, а они их за партизан приняли да как врезали друг по дружке. Мы и выскользнули. С Пелагейкой.

Вот так я начал, взялся разыскивать тех, о ком Август Мут думал, за кого боялся, когда спешил умереть неопознанным.

Через гостью из ГДР послал запрос. Пошли ответы — на немецком, на русском.

«Товарищи из Комитета антифашистского сопротивления сообщите нам, что в имеющихся в их распоряжении документах не содержится никаких сведений об Августе Муте...»

«Имеется еще одна возможность — обратиться в Центральный партийный архив в Минске. Там содержится список всех участвовавших в партизанской борьбе немцев. Вероятно, возможно узнать там еще что-нибудь о нем, чтобы потом более целенаправленно продолжить поиск его родных в Магдебурге».

Из частного письма (Берлин, 1984 год):

«Мут» по-немецки означает «мужество». Фамилия явно вымышленная, скорее всего подпольная кличка.

О человеке с такой фамилией сведений нет.

Среди тех нескольких десятков немцев-партизан, что официально значатся в списках, с подобными биографическими данными также никого не нашли».

И дальше: «Хотя в целом не очень много надежд и в том плане, что близкие родственники А. Мута живы и находятся в ГДР и заинтересованы в установлении таких знакомств. Родственные отношения носят все же здесь другой характер. Но это уже предмет дальнейших размышлений».

Предмет размышлений... Ну а если они на Западе — тем более. Да и вообще: «Родственные отношения носят все же здесь другой характер».

Я вот подумал: а ведь за тем столом в аптечной квартире, когда мама кормила соплеменников Августа Мута, она принимала и его. Что сказали бы немцы ему, что сказал бы им он?..

Мама знала Августа Мута, два последние месяца своей недолгой жизни он был с нею в одном отряде. И, наверное, ему случалось обращаться в санчасть хотя бы за средствами против чирьев: болото щедро награждало ими всех новичков, особенно из городских. Валя Бузак, мамина помощница по санчасти, рассказывала, что «Анну Митрофановну, когда она убежала плакать, много раз находил немец Август». Почти весь наш отряд poleg в однодневном бою с прифронтовыми немецкими частями. Лишь много лет спустя из книг я узнал, куда мы всунулись со своими двумя противотанковыми ружьями — на участок фронта, где наша и немецкая армии решали стратегические задачи. Наша — расширить, немецкая — ликвидировать разрыв между немецкими фронтами, группами армий «Центр» и «Юг», образовавшийся на восточном выступе партизанского Полесья.

Мы знали, что немцы, выбитые из Гомеля, отступившие от Речицы, Василевич, уже собрались, начали уходить и из наших Парич, и вдруг — сплошной, еженощный танковый рев в городишке на Березине. Происходило то самое, о чем я потом вычитал в книгах: по гневному приказу Гитлера на исходе 1943 года началось стягивание гигантских фронтов. А партизаны (не один, конечно, наш отряд) тут как тут — изготовились не пускать немцев на запад, в глущь Полесья. Пусть фронты их, как тесто, расползаются на полесском выступе. А почему бы и нет: Красная Армия — вот она, рукой подать! Ходим-ездим к «батовцам» (37-я дивизия) в гости, торгуем-побираемся: что по дружбе дадут, а что обменяем на полицейскую корову. Автоматы, пулеметы, гранаты. Не только сумки, но и все карманы у каждого набиты металлической тяжестью, для партизана самой радостной, — патроны. Живи — не хочешь! Пока нет ее, патронной этой тяжести, тактика известная: ударил, огрызнулся и смывайся! Как любил повторять Пелагейка: «Наше дело — не рожать,

тэмта-трэмта и бежать!» Весело, да не очень. А тут — гора патронов! Хватило на целый день.

В лагерь, где оставалась лишь санчасть да караульные взводы, весь январь возвращались, добирались, доползали раненные, обмороженные. Нас с братом все еще ждали, была надежда, что мы в армии остались или за фронтом. Когда много погибло да так внезапно, а ты уцелел, сам не знаешь как, становишься не в меру разговорчив. Вот один возвратившийся и брякни возьми, не посмотрев, кто в той толпе, жадно отслушивающей: мол, Анны Митрофановны сыны, сам видел, остались в окопе — гусеницами вот так их заутюживал танк, сам видел... И ногой пошаркал, по снегу подошвой, чтобы нагляднее представили. Она и рухнула, прямо под ноги другим женщинам. Все представила, все, да так, что потом всю жизнь снились ей те гусеницы. Почти полгода — до самого освобождения Белоруссии — жила, как во сне, будто и не она это. В редкие дни, часы, когда не надо было спасать других, спастись самой, вдруг пропадала, и ее начинали искать. Уже в самые гиблые болота оттеснили каратели партизан и уходящие с ними деревни, где названия мест самые наиполюсские: Комар-мох, Князь-озеро... Отыскивала, находила ее чаще всего Валя Бузак, помощница по санчасти. А несколько раз — немец Август. Когда Валя первый раз набрела на пропавшую, увидела: «Сидит на снегу, переломившись, плюшевая жакетка — черная, земля возле ног — черная, растаял, растопился снег. Я сначала не поняла, не поверила — от слез!»

Как я тебе благодарен, Август, что ты бежал, искал ее! Не уверен, что встречал тебя благодарный взгляд, голос, не думаю, что ей было приятно в те черные минуты увидеть перед собой немца. Даже тебя, Август. Но ты искал, что-то говорил...

В Валиной памяти хранилось также и то, что мама в своей не находила, не держала. «Вас приводят в чувство, и как раз командир подошел, узнал, что случилось, стал вам говорить, что «не вернешь», что «вклад ваш не забудем», ну, как он это умел, тут глаза у вас, Анна Митрофановна, большие-большие сделались, и сейчас вижу, какие! Приподнялись и ка-ак ему плюнете!..» «О, господи, что ты говоришь, Валечка, как я могла?!»

Он из того времени — Август Мут. Мне почему-то, в какой-то связи вспоминается зима 1941-го. В дом к нам ворвался немец, с металлическим лязгом рухнул на стул и начал стаскивать сапог, хватаясь за пальцы в тонких носках, стонал, скулил совершенно по-щенячьи. Был он ненамного старше нас с братом. Я смотрел злорадно, точно прибежал немец этот прямо из-под Москвы, где им дали по зубам. Вдруг из другой комнаты вышла мама, она как-то нерешительно держала в руках тряпку, разорвала ее на две.

— Немцу? — крикнул я.

— Какой он немец? Дитя какое-то...

А действительно, что сказал бы Август Мут, окажись и он за тем столом? На их ненавидящее: партизан! бандит! предатель!

Господи, кто завел эту пружину, куда уходят концы, за что крепятся? Не от хорошей жизни жители Земли готовы за детей сегодня прятаться. От самих себя — за собственных детей! Как «зеленые» предлагают, западногерманские: детей политиков, военных поселять в столицах потенциальных противников. Еще идея: обменяться несколькими миллионами школьников...

Что угодно, если поможет. Хотя что еще надо придумывать, кого и куда подселять, если всех и ко всем уже переселили боеголовки. Те, что умертвят «врага», достанут и тебя самого — твои же собственные, радиация, ядерная зима. Их столько, что и четверти достаточно: взорвись они — да нет, десятая часть приготовленного где-нибудь над далекой Антарктидой — радиоактивный гриб поглотит всю пятимиллиардную разнокожую плоть.

Все на одной ниточке. Отпускать! Отпускаться! Пока еще держит!

Как, как найти родных, близких Августу Муту, найти ему сестер, братьев, отца, мать? Где искать?

Ты брат мой, Август!..

1984

## МОЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ

*«Литература (древнерусская) — священнодействие. Читатель был в каком-то отношении молящимся».*

*Д. С. Лихачев*

Какая это улица, вспоминаешь лишь когда с тобою гость, приезжий. Широко и требовательно раздалась среди немногих уцелевших в Минске зданий-памятников, распираемая грузовым транспортом, и вдруг, вспомнив, — гостю, жмущемуся к строительному забору:

— Немига!

— Где?

— А под нами. Вот тут под ногой. В трубе течет.

И, конечно же, напомнишь удивленно-обрадованному москвичу или киевлянину наше общее:

«На Немизе снопы стелют головами, молотят чеши харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела».

И обязательно какое-то время помолчишь, дав человеку (и себе еще раз) ощутить, осознать: под ним, под вами «Слово» течет! Течет ли там сама река, хотя бы забранная в трубу?.. Но что «Слово» — это знаем. Оно в нас самих течет, вместе с током крови.

И что питает, какие клетки мозга, души? Какие мысли, чувства им живятся?

«Немиги кровавые берега не добром были засеяны, засеяны костями русских сынов».

«...ибо сказал брат брату: «Это мое, и то мое же». И стали князья про малое «это великое» молвить и сами на себя крамолу ковать...»

О, люди это умели всегда (и умеют) — не видеть и не ценить главного, истинно великое, «малое» же считать главным.

«...а поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую».

Тогда война приходила из «степи». Но она была не только за далекими, чужими холмами («за шеломянем еси») — та враждебная сила. «Степь» приходила, но она и не уходила, жила в душах, вот этих тоже — княжеских.

«...засевалась и прорастала усобицами, погибала жизнь Дажь-Божьево внука, в княжеских крамолах жизни людские сокращались. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля...»

Что поразительно и поучительно в литературе, о которой Дмитрий Лихачев пишет — «священнодействие», так это то, что воинская, «рыцарская» драчливость, столь характерная для литературных персонажей средневековой Европы, в ней или ослаблена, приглушена, или вовсе отсутствует. Если битва кровавая — то в ответ, а не просто потому, что храбр и силен и потягаться охота, кровушку пускать «лепо»...

Литература эта — моление о мире, страстная боль-тоска о безбоязненном житье, когда пахарь мог бы зерном землю, до обр о м засевать, а горожанин спокойно жить, не прячась за крепкие стены, которые все равно, снова и снова, рушатся.

Ведь для этой земли, людей этих, война, притом на протяжении целых столетий, — это то, что в наше время назвали словом «геноцид». Когда рубят под корень.

«И не осталось во граде ни одного живого: все равно умерли и единую чашу смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и матери о чадах, ни чад об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые». («Повесть о разорении Рязани Батыем».)

Но нет, были и стонущие, и плачущие об убиенных, замученных — эту роль брала на себя наша общая древняя литература. (Не только эту, но эту также брала.) Мне, во всяком случае, слышатся в ней именно плачи, сродни хатынским — рассказам, которых столько выслушал, когда мы записывали память убитых белорусских сел. И здесь и там — живая боль о близких людях и о самом страшном, что случиться может в жизни человека — реального, а не условно литературного.

«Князь Ингварь Ингваревич был в то время в Чернигове у брата своего князя Михаила Всеволодовича Черниговского, сохранен богом от злого того отступника и врага христианского. И пришел из Чернигова в землю Рязанскую, в свою отчину, и увидел ее пусты, и услышал, что братья его все убиты нечестивым, законопреступным царем Батыем,

и пришел во град Рязань, и увидел город разорен, а мать свою, и снох своих, и сродников своих, и многое множество людей лежащих мертвыми...» («Повесть о разорении Рязани Батыем»).

Здесь Ингвар Ингваревич уже не князь, а человек, у которого в с е х у б и л и. О, это особенное состояние, перед ним ничего не значат века времени, пусть столь далекие и непохожие или то, что Ингвар Ингваревич — русский князь, а Параска Ивановна Луцкая или Шемелева Домна Васильевна — колхозницы белорусские:

«И пришла я к ним. А я ж не знала, где те дети в лесу. Но вот ведь привело меня, — во! Они сидят в лесу под кочками, накрылись, когда я пришла.

— Вот, сынки мои родные, да убили ж и батьку, да убили ж и Любку, да убили ж и Ваньку, да и Кольку убили» («Я из огненной деревни»).

«Прихожу — что это такое? — моя мать лежит...

— Мама, говорю, что ты лежишь?

Лежит. Отвернулась я дальше — и Простка лежит, невестка.

— А чего это вы тут?

Лежат. Ага, они уже лежат на том свете.

Матка моя легла... Большая внучка была, так она ту внучку во так положила. (Домна Васильевна ложится на пол и показывает.) Во так на нее легла. А другую сюда притянула. А третью — сюда, к себе. Ну, она еще была и живая немного... Девочка маленькая не сразу померла...» («Я из огненной деревни»).

Люди рассказывают, но одновременно как бы и спрашивают: «Неужто правда было? Так что же это с нами было? И как могло такое быть с людьми и среди людей?»

И сколько подобное будет снова и снова повторяться, что предел этому положит? Неужто не разум человеческий, не боль, не братство победят, а в конце концов Бомба оборвет нескончаемую цепь?

«...редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля...» — смерть, налетевшая из Степи.

«Встала я. Хоть бы где кот, или какой воробей, или что на целом свете — все... Это такая тишина... А може, я только одна на свете осталась?» — смерть, вскормленная в фашистской Германии.

А это уже хиросимская — первые жертвы ядерной смерти: «Уцелевшие в большинстве своем впади в апатию и оцепенение. После того, как кто-то спасся, а кто-то не смог спастись от огненного шторма, над городом и его уцелевшими жителями воцарилась тишина. Люди страдали и умирали, не произнося ни слова, не издавая ни звука. Процессии раненых также были безмолвны» («Незабываемый огонь»).

Оно и сегодня читается как моление о будущем — великое Слово наших предков. О детях, внуках, правнуках. О нас с вами. И о тех, кому после нас быть. Если мы им дадим быть, передав им и великое Слово о мире, братстве.

## ЛОГИКА ЯДЕРНОЙ ЭРЫ И ЛИТЕРАТУРА

В Ленинград приезжали женщины из Соединенных Штатов, в Доме дружбы и мира с народами зарубежных стран они сидели за чайным столом, печенья-варенья к которому готовят и приносят бывшие летчицы, партизанки, блокадницы. Чайный стол в ленинградском Доме дружбы и мира превкусный (сам сидел за ним), разговоры, смех и слезы воспоминаний удивительно красивых женщин (многие уже бабушки) — все на редкость искренне, от души. И вот при расставании американки вытащили из своих сумок что-то белое, розовое, в цветочки, оказалось — наволочки... Обыкновенные, которые для подушек. И попросили: распшитесь фломастером, мы дома вышьем ваши имена, чтобы нам спокойнее было спать!

Другие, чтобы спать спокойнее, зарываются в землю, покупают стальные и бетонные «выживалки»; в одной Западной Германии их, говорят, более миллиона...

В чем больше логики, что надежнее в ядерный век? Ничего надежного нет и быть не может, если ракеты взлетят, а бомбы начнут рваться.

А потому те трогательные наволочки все-таки разумнее, какими бы наивными ни казались. В них хотя бы нет тщетной надежды спастись врозь.

Ничего наивно-прекраснодушного я в том не увидел, а, наоборот, очень даже разумно-практичным показалось мне и предложение Чингиза Айтматова, прозвучавшее со страницы газеты «Правда»: уже сегодня начать подготовку во всемирном масштабе к празднованию 2000 года. Не от кого другого, от самих людей зависит, будет приближаться к ним этот год как праздник надежды жить в новых и новых поколениях и тысячелетиях или как ядерно-апокалипсическая дата.

Яснее ясного: в будущее или все вместе, всем, так сказать, миром выходить или никому туда не прорваться.

...Хоронили молодую женщину, умершую за день-два до родов, ребенок остался в ней, унесла его с собой в землю. Могила приняла, поглотила не только жизнь матери, но и ее продолжение. Подумалось: вот он, образ, лик Мадонны «термоядерного варианта» истории, от которого бежит человеческое сознание, но куда стаскивает человечество тяжкий груз сверхвооружения.

Об этом думать, этим мучиться, себя не жалея, — кому, как не писателю, не литературе! Ну, хотя бы наравне с учеными, которые уже много сделали, чтобы донести до человечества правду о возможном исходе гонки вооружений, а сейчас со всеми противниками войны отстаивают вполне конкретные предложения, главные из которых выдвинуты Советским Союзом и социалистическими странами. А именно: объявить

преступными любые доктрины «первого ядерного удара», полностью отказаться от применения силы и угрозы силой в отношениях между странами. И все делать и сделать, чтобы полностью устранить планетарную ядерно-раковую опухоль, спровоцированную Хиросимой.

Наша публицистика все чаще, все увереннее обращается к этим проблемам, и особенно важным кажется мне ее стремление удовлетворить насущную потребность в новом мышлении и новой логике, предписываемых ядерной эрой. Симптоматично появление статей, книг, где в самих названиях подчеркнуты, выделены формулировки: «Логика ядерной эры», «Новое мышление в ядерный век». «Необходим новый способ человеческого мышления, чтобы человечество выжило и развивалось дальше, — писал А. Эйнштейн. — Сегодня атомная бомба до основания изменила мир; мы знаем это, и люди находятся в новой ситуации, которой должно соответствовать их мышление».

Как-то стали мы вспоминать разные партизанские истории. Физик — академик Николай Александрович Борисевич, президент АН БССР — припомнил, как ходили на «железку», как он, тогда молодой партизан-подрывник, яростно-испуганно тянул шнур на себя, а немец — на себя: под ногами у немца, упершегося в рельс, — мина; он ее увидел, обнаружил и перехватил шнур. Если партизан перетянет, она «ахнет», разнесет на куски, и человек, конечно же, тянул изо всех сил и был в животном ужасе. А партизан понимал: не подорвет немца — тоже живому не уйти!

Так было вчера, на той, на минувшей войне: или ты его, или он тебя! Сегодня же, если иметь в виду ядерную конфронтацию, мыслить приходится по-иному: не тяни, не перетягивай «шнур», потому что на конце его — ядерный заряд и он под ногами у обоих, у всех под ногами!

Как пишут сегодня публицисты-международники, ни одна социальная система в век ядерного «сверхубийства» не может позволить себе игнорировать жизненно важные интересы другой стороны и рассматривать ее только как соперника. Ибо исторические соперники в борьбе идей являются одновременно партнерами в борьбе за жизнь. В этом единственно возможная формула выживания в наш век.

Новое мышление, новое видение... Все это, конечно же, не может не распространяться на литературу. За нее никто не выполнит ее работу, потому что художественная литература, искусство способны проникнуть туда, куда ничто другое не проникает — в тайное тайных человеческого сознания. Пока впереди поэты. «Слово о мире» И. Шкляревского, «Мама и нейтронная бомба» Е. Евтушенко, стихи А. Вознесенского, П. Панченко, А. Русецкого, И. Драча, О. Сулейменова и других... Но не обойтись и без усилий прозаиков, кинематографистов, драматургов. Советские и прогрессивные западные писатели-фантасты внесли немалый вклад в развитие этой наиважнейшей сейчас темы. Большой интерес вызвал и роман «Катастрофа» белорусского автора Э. Скобелева, роман-антиутопия о том, как ядерный взрыв смел жизнь с острова, лишь несколько человек укрылись в «суперубежище». «Теперь-то мы были бы счастливы

начать со вчерашней отметки, решиться на борьбу за спасение человечества, но — часы уже пробили двенадцать, ничего не изменишь, — кричит себе и опустевшему «острову» писатель Фромм, один из героев романа, — горы орудия, в которое мы вкладывали свои надежды, никого не спасли...»

Писать о таком будущем — задача не только сложная, но и чрезвычайно ответственная. Ибо то будущее, которое существует в человеческом сознании, представлении (а значит, и в литературе), способно воздействовать и на саму реальность. (Впрочем, так же, как и прошлое, история.) Философы уверенно утверждают, что потенциальное будущее начинает все более ощутимо влиять на современность (так называемый «эффект Эдипа»). Так как же с ним, с этим прогнозируемым, ожидаемым будущим обходиться писателям? Чтобы и не «отвертываться» от него (употребляя слово Ф. Достоевского), но и не брести заворуженно, обреченно навстречу беде, подобно герою Эсхила? Как избежать спекуляции на теме, но и спекулянтам от литературы тему не уступить? Ответ — в нас самих. Если главное для мира, для человечества стало главным для тебя лично и нет у тебя другой цели, как только всего себя отдать, чтобы жила Земля, чтобы жил Человек, — найдешь и верный тон, и точную меру, и нужные слова.

Кстати, немало схожих проблем встает, когда мы обращаем взгляд и в прошлое. Например, надо ли писать столь подробно о хатынских жестокостях, а если это уже сделано в литературе, то как с этим обжигающим «материалом» обходиться, скажем, в кино?

Нам, соавторам «Блокадной книги» и «Я из огненной деревни», вопросы задавали, да и мы сами себя спрашивали вот о чем: «закрепляя» жестокую правду о таких вещах в сознании новых поколений, чего мы достигаем? А вдруг обратного желаемому? Вдруг причаем смотреть как на нечто обычное на то, что не должно и «в сознании вмещаться»?..

Ответы на многое — в читательских письмах.

«Прерывался лишь дважды: поужинать (часов в шесть) и — на час с лишним, — чтобы посмотреть программу «Время». Вскоре все улеглись спать. Мое потрясение между тем нарастало. Я подумал тогда (и наутро сказал жене): «Я прочел эту книгу и оказался за чертой, которая теперь отдалила меня от тебя. Только когда и ты прочтешь, мы снова соединимся, станем вместе». В. Дмитриев из Москвы.

А это — из письма москвички Любы (фамилию не указала):

«Я не могла носить в себе все Это одна. Мне было очень тяжело. И я попросила мужа прочесть, чтобы мне было с кем поделиться и разделить Это, чтобы мне стало легче... Он тоже прочел, тоже стал смотреть кое на что другими глазами. Я думаю, что он тоже стал другим».

Таково ощущение людей, которые вовсе и не блокадники даже, сами не пережили всего, а лишь сопережили, прочитав чужие дневники и записи устных рассказов. Но, смотрите, как правда сразу изменяет что-то в людях, в их самосознании, порой отдаляя и даже обособляя их (и это — мучительно) от тех, кто не знает. Будто перенесло тебя на ту

сторону улицы, которая «при обстрелах особенно опасна». (На Невском в Ленинграде сохраняется такая надпись-предупреждение.)

Ну, а сами блокадники или горевшие в Хатынях, пережившие, перенесшие немислимое и столько лет нешие в себе свое особое знание жизни и человека, не разделенное ни с кем, — как их оно должно было мучить! Да разве имеет кто-либо право сказать: не хочу вашего знания, оно слишком жестоко! Говорим: разделить чужое горе. Но есть и чужое знание, которое не принять — бесчеловечно. Не говоря уже, что это неразумно с точки зрения интересов и новых поколений, и просто рода человеческого.

К известной истине — забывающий прошлое рискует встретиться с ним завтра — хочется такую мысль добавить: зло есть зло, но знание о зле есть добро. Зная, легче и бороться, и побеждать. Чем большее зло, тем больше надо разузнать о нем, по возможности — все.

В одном из разговоров, споров наших на эту тему возникли и такие мысли: ну что еще нужно, какое еще «новое мышление»? Спорящий показал на полки, где стояли тома классиков литературы. Мол, просто надо продолжать, что мы и стараемся, обычную работу по гуманизации жизни человека. Вот «Белый Бим Черное ухо»... Разве мало значит и в ядерный век произведение, столь пронзительно утверждающее, закрепляющее в людях, в мире добро, человечность?..

Верно, немало! Ради такой вещи и те классические тома на полке охотно потянутся. Но если прикинуть: сойди они с полки, те тома, а их создатели — в мир, в котором жить и действовать досталось нам, ну разве можно их вообразить только теми, только прежними? Боль, гнев за повешенных крестьян-бунтарей и — на всю Россию — «Не могу молчать!». Мысль о милитаристском зуде, одинаково одолевающим всех этих кайзеров, президентов, царей, и — на весь мир — «Одумайтесь!..». Одна-единственная слезинка ребенка, и какой самосжигающий, на всю глубину прошлых и будущих веков крик совести: такой ценой счастья принять не желаю!..

Ну, а если не о счастье или несчастье отдельных людей и даже социальных групп, классов речь шла бы, а о самом существовании всех нынешних и всех будущих людей, какими бы предстали, как заговорили бы эти писатели и их произведения? Просто делали бы литературу? Да нет же, они тогда не литературу, а жизнь делали, потому и великая литература получалась. Если уж делать литературу в мире, где против жизни нацелено столько мегосмертей, где жизни угрожает сверхоружие, сверхубийство, тогда делать надо — сверхлитературу. То есть что-то адекватное, соответствующее всей мировой ситуации! Гадаем, спорим, думаем, какой станет литература будущего. Такой и станет — в смысле нравственного потенциала, — какова будет степень ее участия в спасении этого будущего.

Что сильнее и глубже всего способно в ближайшее время повлиять на весь характер планетарной культуры, на сам тип мировой литературы, так это как раз новые реальности и процессы в человеческом созна-

нии, определяемые всей совокупностью событий XX века. Человек — единственное на Земле существо, сознающее свою смертность, конечность. Исчезни вдруг это знание, и как резко изменился бы и он сам, весь — в повадках, поведении, в культуре, литературе, искусстве, в степени и характере нравственности. А сегодня человек обнаружил, что и весь род его сделался смертным. Вчера еще будущее его уходило в даль грядущих тысячелетий, и вдруг — реальная вероятность исчезновения. Навсегда. В течение минут, часов!..

И что же переменялось? В поведении, в типе искусства, литературы? Кое-что переменялось, но пока не слишком резко, явно... О чем это говорит? О том лишь, что еще не произошло сегодня то, чему обязательно случиться завтра!

Ученых-обществоведов и философов все больше интересует проблема «переоценки понятийного аппарата». Всякий раз переход к новому образу мышления растягивался на десятилетия, а то и на века, сопровождался ожесточенной борьбой. Истина, по выражению Гегеля, рождается как ересь, а умирает как предрассудок. У человечества нет больше такой возможности — растягивать на десятилетия и века выработку и практическую реализацию нового мышления в политике, в искусстве, в человеческих взаимоотношениях. Время больше не течет, как в прежние тысячелетия, этаким бесшумным, мягким песочком, оно, живое время, как кровь из разорванной артерии: вот-вот из живого может превратиться в мертвое. И литература обязана быть готовой к тому, чего прежде не бывало ни в ней, ни с нею. Она самым временем позвана к подвигу — по спасению жизни.

Но что может, на что способна литература в столь грозном мире, на многое ли?

Не спрашивай, если ты писатель, что литература может, а спрашивай, что ты — ты! — ты! — должен! Ведь литература — не что иное, как результат нашей самоотдачи. А она, самоотдача, сегодня не будет достаточна, если в нас самих не взорвется та проклятая бомба, заранее, в душе, в мозгу нашем — во имя того, чтобы реально никогда не всплывался над планетой отвратительный гриб. Всю угрозу, всю опасность впустить в себя, не боясь додумать самую жестокую мысль до конца, и тогда не будешь спрашивать, что литература может и может ли. Вспомним толстовское: весь мир погибнет, если я остановлюсь! В век ядерный не обязательная ли это мера личного писательского соучастия во всем и ответственности за все, что в мире и с людьми происходит?..

И в обстановке современного, опасно обострившегося противостояния социальных систем литература, искусство, как ничто другое, могут, способны возводить мосты, ведущие от народа к народу, от сердца к сердцу — в будущее без войн, без вражды, голода, нищеты, эксплуатации человека человеком. Мы помним поразительный эффект телемоста «Москва — Космос — Калифорния», когда люди различных социальных систем радостно глядели в глаза друг другу — поверх наледи, поверх торосов «холодной войны» — и на какой-то миг ожило, из прошлого вер-

нулось время, когда народы по обе стороны океана чувствовали, ощущали союзническое плечо друг друга в непримиримой, самоотверженной борьбе с фашизмом.

Как это важно и нужно видеть живые глаза близких и далеких соседей по планете, как во время той прямой телепередачи, не поддаваться, всячески сопротивляться злой, неразумной воле тех, кому хотелось бы подменить лицо народа-соседа маской «врага», «нелюдей». О, они ведают, что творят! А как иначе можно заставить, введя народ мириться с планируемым риском «ограниченных», «затяжных», «звездных» и прочих одинаково самоубийственных войн? Способ тут один, испытанный: внедрять в сознание сограждан «образ врага», который ужаснее ядерного побоища.

Совсем близкая история, однако, свидетельствует, что подобные манипуляторы общественным сознанием неизбежно сами становятся жертвами лживой, зловещей игры — не знают, где останутся и останутся ли. Геббельс такой «образ врага» заливил, введя в сознание немецкого народа, что и сам в него как бы поверил: увлек, утащил в могилу и собственных детей!

В мире, и в частности в США, немало людей, которые активно, осознанно противодействуют зловещей работе ядерных расистов. К нам в Минск приезжала журналистка Марфа Стюарт, и мы имели возможность познакомиться с одной из форм деятельности американцев, восстанавливающих мосты, которые другие американцы, прежде всего облеченные властью, рушат, подрывают. Оказывается, честным людям приходится начинать с элементарного, например, печатать в иллюстрированном журнале фотографии американцев вперемежку с лицами наших соотечественников, чтобы житель Нового света собственными глазами мог убедиться, что и у нас тут обыкновенные люди живут, а вовсе не нечто пугающее, неопределенное. Куда же, в какую темень оттеснено сознание тех, кого приходится подобным способом убеждать в элементарнейших вещах? Но ведь и силы, манипулирующие на Западе массовым сознанием, действительно мощные. Вот что написал в редакцию журнала «Век XX и мир» один из его американских читателей:

«В США нам сейчас внушают, что «сокращение» означает «наращивание» (поскольку «чтобы разоружиться, нам надо вначале вооружиться»). Нам внушают, что «мир» означает «войну» (поскольку «мир» — это не что иное, как «умиротворение»). А еще нас учат, что «война» — это и есть «мир» (поскольку только «наступательное сдерживание» и «обезоруживающий удар» способны принести мир). Нас учат, что в «невежестве сила» (поскольку «чем меньше мы о них знаем — тем лучше», ведь «знание может ослабить нашу решимость»)...»

Не пора ли усвоить им такую вот истину ядерной эры: лучше быть разными в жизни, чем одинаковыми в смерти?..

Кому, как не нашей литературе, изначально гуманистической по своей природе, стать планетарным голосом в защиту права на жизнь всех нынешних и всех будущих поколений, самого рода человеческого?!

Во всей его многоликости и неоднородности. Человек сегодня как никогда, говоря словами К. Маркса, «должен проявить и утвердить себя как родовое существо». И это в нас, людях, не только заложено, но, что очень важно сегодня, все более осознанно проявляется в мыслях, чувствах, действиях.

Человечество в опасности! Глаза схватывают слова, и тотчас как эхо: «Родина в опасности!» Да, в нас живет, действует та же патриотическая готовность всем пожертвовать «ради жизни на земле». Эти, такие современные строки родились ведь в те годы...

Чтобы советская литература оставалась тем, чем она была всегда — чувствительным и выразителем самых передовых идей и устремлений человечества, — писателю надо стремиться всегда быть на уровне своего века и своего, хочется сказать, тысячелетия. Да, мы — поколения, живущие во втором тысячелетии, теперь в ответе за все последующие. Страшноато это осознавать, но именно от нас зависит, быть ли новым тысячелетиям в человеческой истории...

...Шла киносъемка. Артист, играющий эсэсовца, высоко поднял девочку, чтобы на глазах у матери и братика разбить, бросить ребенка, убить, а она, четырехлетняя Наташа из белорусской деревни Броды, звонко-радостно крикнула братику, который где-то там внизу: «Андрей! Я здесь!» Сорвала режиссеру «дубль», но как же радостно рассмеялась вся киногруппа — в ответ на отчаянное неверие ребенка в жестокость, в зверство, в войну.

Как оправдать, чем окупить неиссякаемое доверие самой жизни к нам, людям, ее детскую веру в нашу доброту и мудрость?

Какими делами, какой политикой, какими книгами?!

1985

## ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК НА ЖИВОЙ ЗЕМЛЕ

### Всесоюзный контекст «деревенской» и «военной» прозы

Давно не верю нашему брату писателю, когда он жалуется-завидует, что вот кто-то работает, пишет, а он, мол, бездельничает. Не поверил и Валентина Распутина письму: «Где-то еще пишут книги и говорят о них, где-то снимают фильмы и надеются с помощью слова и камеры переменить людей, я же ничего не делаю...»

И правильно, что не поверил: пока мы с Элемом Климовым снимали горящую деревню для фильма «Иди и смотри», Валентин писал и написал свой «Пожар», — вот так они и сошлись во времени, два пожара. Страшный наш хатынский и тоже страшный распутинский, хотя там никто никого не жег, лишь склады сгорели над Ангарой. И тем не менее страшен пожар в повести Распутина: прежде чем склады, души человеческие незаметно выгорели многие дотла, многих, пугающе многих лю-

дей души. Водка и бессмысленность существования их испепелили, хотя, казалось бы, почему, откуда это?..

Впрочем, ничем нас сибиряк не удивил. Есть, есть это и на нашем конце...

На тех же киносьемках посмотрелся, всякое в войну и после видел, но и к такому привыкнуть тяжело...

— И возле моей хаты стоит машина! А я уже думала, никогда не будет возле моей хаты стоять машина.

Снова и снова нам это сообщает женщина, все куда-то срывается бежать, мешает киноосветителям, но вот, слава богу, задержалась у забора на скамейке и громко радуется, что и «возле ее хаты...». Невыносимое одиночество женщины-пьяницы, большего не бывает. Большой несмелый, добродушный пес, не сводящий заботливых глаз с хозяйки, только подчеркивает это одиночество. Вдруг снова вскочила женщина и, хлопая порванными резиновыми сапогами, быстро-быстро засемила к своей хате, собака следом. Уже несколько раз уходили и возвращались, и всем ясно зачем...

Хозяин двора и дома, где мы готовимся снимать военного времени сцену, тоже навеселе, румяный, в празднично белой рубашке. Впрочем, у него есть повод (хоть вряд ли и он в нем нуждается), у него «праздник» даже больший, чем у той женщины, и нам от дружелюбной улыбки его некуда деваться...

Видел я всякие хаты белорусские. До пожаров, а потом в войну, горящие. Послевоенные землянки. Все было, но не было этого ощущения, что своя хата крестьянину — неинтересна, недорого, как чужая. Вроде той заношенной одежды, которая уже не для носки, а так — дырку заткнуть, обтереть грязь. Не живут, а доживают. И не оттого, что выехать куда-то собрались, собираются переехать, а просто потому, что «и так сойдет», а детям это не понадобится. Сын у хозяина — в Минске, иногда приезжает, наверное, и ждут его здесь и сам рад, когда собирается в родную деревню с городской своей семьей.

А вот и следы гостевания его: окна заклеены целлофаном, нам приходится вставлять стекла — необходимо для съемок. Приезжал сынок и по пьяному делу переколотил.

— Что, так и зимовали?

— Ага, — усмехается хозяйский мальчишка. Господи, и этот уже помечен: подергивается, глаза косят. Ну, этот в город не уедет, а для деревни, вот такой деревни, сгодится, так что задержится, будет работник...

В хате на стенах старые литографии с ненашими пейзажами (хозяин, судя по ним да по фотографиям, — бывший фронтовик), в углу огромный телевизор, но грязь и неустроенность, какой и в войну в деревнях не видел. На гуталинно-черных простыне и подушках пьяно спит сама хозяйка прямо в сапогах (все тех же резиновых), ни визжащая в сарайчике голодная свинья, ни киносьемки в доме разбудить ее не в состоянии.

Незадолго до этого пришлось мне побывать в иной белорусской деревне (ну, прямо-таки по распутинскому «Пожару!»), которая «с иголки» — вся в асфальте, в клумбах, новеньких коттеджах, таких же чудно-ненаших, как те настенные литографии. И новоселы все больше приезжие, не местные. Все в новой деревне подчеркнуто щедрое, даже расточительное, если не сказать демонстративно-выставочное, не деревня даже, а какое-то наше виноватое швыряние денег, извинение, поклон до земли и упрашивание: только живите, только работайте на земле! Не за те ли годы и десятилетия поклон и извинения, когда только брали от деревни, у земледельца и ничего почти не давали? Но как-то все это получается, задолжали одним, а поклон — совсем другим. Оценят ли? И удержат ли их коттеджи, асфальт, городские условия труда и отдыха? Тогда как тех удержали бы (да что удержали бы: они и не собирались никуда!) какие-то минимальные вещи. Ну, не очень щедрый трудодень был, так хоть бы не стесняли с огородом, скотиной, сенокосом. («...и квакать учились курицы, чтобы не попасть под налог» — Е. Евтушенко.) Хоть бы не мудрили все напропалую. Все, включая и нашего брата писателя, литературу, которая незаметно, но все тверже в разговоре с деревней, с крестьянином, усваивала тон начальственный, поучающий, распекательный.

Ну да об этом чуть погода.

Читаем в центральной прессе, как пришлое мелиораторы (уже белорусские) окультуривают запущенные угодья, земли в Калининской области, а их просят не спешить со сдачей: некому земли те принимать, работники еще не завезли... из Узбекистана.

Да, коттеджи и розарии-клумбы вдоль асфальтовых дорожек или целина со всем, что поглотила и что отдала нам, — все это тоже поиски путей, выхода, но пока искали такие и подобные «разовые» решения, чтобы все проблемы да одним ударом, выбирая обязательно какие-то над деревенские, над крестьянские решения, пути, упустили нечто важное, не нечто, а самое-самое — земледельца, крестьянина упустили. Теперь завозим — как заморских специалистов, людей редкой профессии!

А ведь так оно и есть. И в промышленности, в технике-технологии наверстывать упущенное нелегко, непросто. Но тут еще сложнее. На крестьянина «учатся», «обучаются» не год и не пять — нужны поколения. Восстановить крестьянство, да это как плодородие восстановить на площадях, снесенных подчистую ураганным суховеем. А площадки вон какие — из конца в конец!

Глеб Успенский: «Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, добейтесь, чтобы он забыл «крестьянство», — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безгра-

ничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь»<sup>1</sup>. Оторвали. Добились. И вот имеем.

Наша классика всегда болела вопросами: кто виноват? что делать? и кто там идет, что грядет?..

Вот и мы, нет-нет да и вопрошаем, уже в глобально-экологических масштабах: кому это надо было — отнять строго по науке у украинца чернозем вокруг Каховки, пообещав море, хоть залейся, воды, а вместо того подарив болото или солончаки, а белоруса лишить влажного дождеобразующего Полесья и придвинуть к нему пустыню?..

Спрашиваем с других. А не спросить ли и с самих себя? Какова во всем этом, например, роль литературы нашей?

Стол заказов при СП — непонятное, ставшее привычным веселье клиентов с авоськами и портфелями, ирония, неизвестно в чей адрес, — и вдруг над всем «голос»:

— Вам не положено!

— Почему?

— Вы — писатель?

— Конечно!

— Вот поэтому. А если о деревне всю жизнь писали — тем более. Романы, поэмы о торфоперегнойных горшочках сочиняли? А о том, что для размаха, чтобы простор был технике, надо всех со всеми слить, объединить — писали? И снести «неперспективные» деревни — об этом тоже? Чтобы травы запахнуть, Трофима Лысенко, «народного академика» поддерживали дружно? Что черные пары — расточество — громко кричали? И что кукуруза и за Полярным кругом — королева. Что молоко для колхозника в магазине, а не в его сарае. Что приусадебный огород — пережиток, помеха общественно полезному труду. Писали? Ратовали? Учили, учил? Ну так походи, брат, попляши!..

Помню, как спросили коллегу нашего (год 1950 или 1952), почему он ни разу не заглянул в «отстающий» колхоз, а все — «Рассвет» да «Рассвет».

— А я к гультаям (лентяям, бездельникам) не поеду! — горячо так, начальственно-гневно.

Рассердился, на весь крестьянский народ разгневался писатель. Ведь в ту пору «неотстающим» у нас в Белоруссии был едва ли не один «Рассвет» Кирилла Орловского. Его одного и хватало на весь СП. Да на приезжих гостей.

Назвать все это литературой можно, но только если хорошенько забыть, что слово это, деятельность, профессия означает.

Но ведь не все вот так, было и другое, другие были. Те же Овечкин с Дорошем, а у нас в Белоруссии — Брыль («На Быстрянке»), Макаенок («Камни в печени»). А сегодня — тем более. «Русская пшеница», «Про картошку», «Комбайн косит и молотит», «Очерк про очерк» — литература и телевыступления Юрия Черниченко — решительное, практическое

<sup>1</sup> Успенский Г. И. Теперь и прежде. М., 1977, с. 207—208.

отрицание литературного верхоглядства, безответственности, скажем резче, литературного паразитизма на колхозных нивах, где и без этого сорняков хватало.

Но и эта, и такая «литература» жить хочет. У нее и защитники найдутся: попрекают того же Ю. Черниченко, Л. Иванова, А. Стреляного как раз за дотошное, заинтересованное знание предмета, то есть проблем сельского хозяйства, экономики. Мол, не подменяйте экономистов, министерства, ученых мужей, не роняйте звание художника: характеры, характеры нам дайте (как будто знание кому-то мешало рисовать характеры), пафос, пафос — вот ваше оружие!

Этой критике поначалу и вся «деревенская» проза не легла на душу. Но пришлось смириться, обновляющая волна слишком мощной оказалась, прямо-таки девятый вал. Признав ее законность, тут же взялись звать, кликать ее «вперед», а если точнее — к прежним стереотипам. Нет, не топчется «деревенская» проза на месте (в чем ее уже упрекали), «оглянувшись окрест», она двинулась снова и действительно вперед.

Об этом и будет здесь разговор.

Вообще это характерно: чуть-чуть углубится литература в реальность во всей ее суровой сложности (военную ли, деревенскую ли или еще какую), тотчас, всполошась, вострубит чей-то высокий вкус, утонченный запрос: художественности жажду! романтизма! объелись этой вашей голой документалистикой да публицистикой!

Как будто та самая художественность (самая из самых) добывается на каких-то иных путях-дорогах, а не на этой, где и ноги обобьешь о камни-рытвины, и в грязь того и гляди окунешься по самую макушку.

Критик жаждет какой-то, поверх проблем века, «художественности», а вот художник из художников вдруг признается: не могу я дождаться, пока моя тонкая художественная материя исподволь, где-то там в будущем повлияет на людей. Немедленно, немедленно надо спасать самое это будущее!

Так говорил, это говорил в августовской телебеседе с Сергеем Залыгиным всегда такой сдержанный Валентин Распутин. Об этом же немного ранее — в интервью «Советской культуре»: «У нас нет другого выхода, если мы собираемся быть и жить, как бороться одновременно и за завтрашний день, и за послезавтрашний, и за тот, когда станут жить наши внуки.

И вот попробуйте в этих обстоятельствах умыть руки и сослаться на то, что вам некогда, что вы заняты «вечным» словом, которое станут читать не только современники, но и потомки. Может ведь случиться, что некому будет читать» («Советская культура», 1985, 19 марта).

Если вспомнить его последние рассказы, тоже многих смутившие, можно понять (а точнее, лишь догадаться), какой душевной работой выстрадан призыв этого писателя, обращенный к «деревенщикам», — выходить открыто, не боясь «публицистики», к самым болевым точкам нашего времени, сопрягая «деревню» с делами и заботами всей планеты, глобальными проблемами.

В том же интервью: «Из огромной проблематики, принесенной нам жизнью в последние десятилетия и годы, хотел бы назвать только три вопроса, три из тех, на которых сейчас стоит земля. И все три — охраняемые. Пришло время прежде приумножения говорить, как о главном факторе продолжения человеческой жизни, о сбережении. Это вопросы сохранения мира, сохранения природы и сохранения памяти. Их можно и нужно ставить в один ряд, потому что от каждого из них по-своему зависит все наше отнюдь не отдаленное будущее».

Нет, не исчерпала себя «деревенская» художественная проза. И не грозит ей самоповторение. Она развивается, идет вперед, и, надо сказать, не в одиночестве. Если считать деловую, практическую прозу о заботах деревенских (Л. Иванов, Ю. Черниченко, И. Дубровский, А. Стреляный, И. Васильев и др.) достаточно самостоятельной ветвью современной советской литературы, тогда можно говорить, что деревенская художественная идет на прямое с ней сближение: слившись, и одна и другая станут еще мощнее.

Рядом и «военная» проза, хочется надеяться, что наработанное ею за последние годы и именно в том направлении, куда выходит и «деревенская», сгодится для общего дела. Как, в свою очередь, опыт «деревенщиков», белорусских и русских, необходим был Василю Быкову, когда он работал над повестью «Знак беды». (До этой вещи казалось, что Быкова, его творчество вполне можно объяснить самой войной. А ведь это не так: слишком многое в его военных повестях объяснимо лишь довоенной его и его героев деревенской судьбой.)

Две мощные ветви современной многонациональной литературы — деревенская и военная — действительно из одного ствола произрастают. И к одному свету тянутся, в одном направлении.

Сбережение самой жизни на Земле — их общая, сегодня главная тема, задача, идея.

Живой человек возможен лишь на этой Земле — об этом молят и кричат, коленопреклоненно и гневно одновременно, и «Царь-рыба», и «Прощание с Матёрой», и «Колесом дорога» — Астафьева, Распутина, Козько, равно как и проза Абрамова, Залыгина, Мележа, Можая, Друцэ, Белова, Брыля, Матевосяна, Е. Носова, Гранина, Гончара, Кудравца — многонациональная наша «деревенская» проза.

Действительно — всем миром навалиться. Пока не поздно!

И тут уж невозможно ограничиться разговором только о «военной» и «деревенской». Вся, какая есть, — только так литература сегодня и может оправдать свое право называться литературой. Да, город, да, завод или стройка, институт — свои конфликты, характеры. Свои традиции у разных национальных литератур и своя специфика у различных жанров.

Но вот это — сбережение самих основ существования — касается всех без исключения, и тут уже не место действия, не национальные особенности, не жанр — ничто не может оправдать глухоту и слепоту литературы, писателя (и критики тоже).

«Если мы сегодня отстоим мир и добьемся права на завтрашний день, послезавтра мы можем погибнуть от отравления воздуха, воды и земли. Если мы сумеем и природу отстоять, через два дня новая опасность, не менее трагическая, — свихнуться и погибнуть от беспамятства и безразличия, от потери чувства самосохранения».

Вот так сегодня «деревенская» проза (словами Валентина Распутина из того же интервью) ставит себя в зависимый контекст со всей литературой, которая живет проблемами рода людского.

Да, сбережение сущего — главная задача всех. Сбереечь живого человека на живой земле, сохранить живое в живом — но как? Через безоглядное «давай, давай!» люди как раз и примчались к к р а ю п р о п а с т и.

Не пора ли озаботиться тормозами? Чтобы отступить от края, пойти назад, обязательно нужно остановиться. Это верно в сфере разоружения. Но и в экологических делах тоже. Не в том смысле, что должна прекращаться производственная деятельность человека, но чтобы отлаживался, совершенствовался механизм торможения, остановки, когда это необходимо. Не когда уже наломали дров, что дальше некуда, а чуть-чуть пораньше. Чем мощнее мотор, тем надежнее должны быть тормоза.

Во время прямой телетрансляции из Тюмени, говоря о примерах бесхозяйственности в разных отраслях и производствах, М. С. Горбачев выделил положение с сибирским лесом, где, по его определению, «психология временщиков» связана «с самыми разрушительными последствиями».

Да и в каких делах такая психология не бедствие?!

Лес порубили на тысячах гектаров, а вывезти заготовленное нет сил, нет техники и условий, но «план есть план», зарплату надо лесорубам платить исправно, да и премии не помешают: рубим дальше, давай, давай! Видел я сибирский лес по дороге к Байкалу, непроходимый от так вот бессмысленно загубленных вековых деревьев, мне показались — убитых, и весь лес, как место безудержного разбоя. Такому «давай, давай» не стыдится поддакивать и наука, не вся, но именно та, которая уже и 40-летние сосны согласна считать «перестойным лесом» (см.: Лисеев А. Сколько дереву жить? — Наш современник, 1985, № 8), а безоглядное «глубокое осушение» белорусских земель, приводящее к гибели также и леса, поспешно и послушно обосновывала «научными опытами», поставленными чуть ли не в ящиках, которые домохозяйки устанавливают на балконах (см.: Козлович А. Позиция. — Дружба народов, 1982, № 5).

Вот уж действительно: не наука, а «адвокатские конторы при ведомствах», которые «тратят чуть ли не весь свой арсенал для оправдания сложившейся обстановки». Нет печальнее зрелища, чем наука на посылках у министерств, заинтересованных лишь в «благополучии плана».

Не на эту ли, такую «науку» ссылаются те, у кого поверх головы излишек бюджетных денег, непривычно много людей, техники — единст-

венная и одна забота — куда их закопать, миллиарды, чтобы звучали литавры-реляции, сыпались поощрения, сочинялись о «трудовых подвигах» романы-поэмы (говорят, приходили заключать «договор» с писателями) — и вот еще одно озеро спущено в море, «рассеванилось», еще сотня-другая малых рек послушно «выпрямилась», «выпросталась» (в белорусском языке синоним слову «умереть»), а на месте чернозема, вековой пашни возникло море без берегов, тут же обернувшееся болотом или еще хуже — солончаками? (См.: «Круглый стол» ученых-почвоведов. — Наш современник, 1985, № 7). Вот они — разрушительные последствия «психологии временщиков»!

Никто не станет всерьез выступать против мелиорации как таковой — в огромной сложнопочвенной и сложноклиматической стране такие работы неизбежны.

Но хороша была бы медицина, признающая один лишь скальпель, потому что другие, более щадящие средства ей, видите ли, «мало дают для плана». Если ученые-почвоведы протестуют, так именно против этого — сведения всей мелиорации к осушению и поливу, нежелания использовать более тонкие и безопасные пути, методы и средства.

Не наяву, так хоть бы во сне явился к ним, к теоретикам и практикам таких «преобразований природы», хирург и предложил бы на собственном их теле (как они на живом теле земли!) «спрямить» или «вспять повернуть» вены, артерии, влить кровь венозную в артериальную и наоборот...

Что нам бесконечно вредит, так это то, что мы почему-то все еще уверены, что безмерно богаты. Лесами, землями, природными ресурсами. Как тут остановиться перед Байкалом, перед Онежским озером, перед черноземами (на которые наползают города и промышленные объекты, а теперь — и угроза «мелиоративного засоления»), перед регулирующими климат, дающими нам кислород лесами и болотами и пр. и пр. — если всего столько? Миллионы и миллионы кубометров сибирского леса остались под водой, когда делались «плотины века», — недостуг, и просто лень, и просто наплевать кому-то было, кто обязан был очистить «ложе», теперь лес-утопленник всплывает, таранит катера, забивает решетки плотин, но хорошо бы и совесть нашу протаранил! (См.: Правда, 1985, 11 сент.)

У тех, кто не научился или отвык считаться с ограниченными, конечно же, возможностями кормилицы природы, нет достаточного стимула крутить-вертеть мозгами. Как японцы, почти лишенные природных богатств, вынуждены делать. В поучение всему миру. Почти анекдотическую изобретательность сингапурцы проявили: воды пресной не имеют — на этом и зарабатывают. Покупают неочищенную, перегоняют по трубам из Малайзии, у себя очищают и продают ее, уже пригодную для питья, малайзийцам — таким образом, и вода у них бесплатная и еще изрядный приработок.

Конечно, можно всем торговать, продавать, покупать. Но есть ресурсы восстановимые (хлеб, например) и теряемые безвозвратно (газ,

нефть). Об этом уже пишут, и как не писать?! Что поделаешь — снова Ю. Черниченко (Свой хлеб. — Новый мир, 1985, № 8).

Ведь когда мы теряем из-за неистребимой ведомственной, министерской волокиты наши технические идеи, а потом их, одетые в металл и пластик, покупаем за границей (см.: Лынев Р. Потерявши — платим. — Известия, 1985, 6 авг.), мы платим не чем-нибудь, а невозстановимым, т. е. из кармана наших потомков.

Людам будущего влетит наш сегодняшний бюрократ!

Вот мы все о других. Ну, а роль и миссия наша, литературы? Наше участие или соучастие каково?

Да, с гордостью может вспомнить и напомнить, что это «мы» (а точнее — Сергей Залыгин) подставили ножку энтузиастам затопления Обской низины (а заодно и тюменской нефти). Вместо того чтобы привычно и, как писателям положено, саккомпанировать на поэтической лире захватывающим планам и деяниям. Может быть, с гордостью будем когда-либо вспоминать усилия и озабоченность писателей судьбой северных рек, может быть... И то, что им дело было и до русской «сильной» пшеницы, и до белорусских болот и дубрав, до сохранности украинского и русского чернозема или рукотворных льнопожаров на Вологодчине...

Фу, какая приземленность! Да, именно при-зем-лен-ность. А мне почему-то не очень верится, что без нее возможен сегодня стоящий писатель. Это качество действительно роднит сегодня разнонациональных писателей Залыгина и Айтматова, Распутина и Козько, Астафьева и Друцэ, Гончара и Черниченко, Быкова и Матевосяна, Белова и Брыля, Адамчика и Чигринова, Г. Семенова и Сипакова, Стреляного и Стрельцова, Е. Носова и Пташникова.

Писатели эти решительно отстраняются от соучастия в «войне с природой» (даже под видом «преобразований»), потому что, как и в любой другой глобальной войне, победы и здесь быть не может, а лишь самоубийство — для всех.

Думаю, что кое-кто из воителей на реках и в лесах, все еще чувствующавших себя неуязвимыми, посмотрев и послушав теледиалог Залыгина с Распутиным, их требование и обещание памятники ставить разорителям и погубителям природы (но только «головой вниз»), а еще больше — прочтя материалы «круглого стола», организованного «Нашим современником» (1985, № 7), вполне могут даже обидеться, жаловаться: им объявляют войну!

Ну что ж, кажется, что сегодня это единственно допустимая и разумная война.

Кстати, о памятниках. Их бы и некоторым писателям ставить, такие же. Если бываете в Крыму, на каждом шагу можете увидеть запаханные виноградники. И сюда пришла, прорвалась филлоксеры, корневая зараза, когда-то разорившая виноградарей Европы. Но Крым оберегал себя — строжайшими санитарными кордонами. Более ста лет успешно удерживал оборону наш «зеленый крест».

Но разве устоять ему было перед пафосом, энтузиазмом кликнувших клич: «Превратим Крым в край садов и виноградников!» Дружно подхваченный и бряцающими на лирах. Идея хорошая, но если бы по-деловому, с оглядкой на «зеленый крест», на эту самую филоксеру. Но не до того было, все (и литература) — наперегонки. То самое: давай, давай! И примчались. Как и во многих других делах и случаях.

Нет, тут возможна и экономия: писателям-бряцателям памятники, пожалуй, ставить не обязательно. Они сами себе ставят. Река загублена, но поэма-то осталась. Чем не памятник? Море сгнило — все помнят фильм. Залив умершвлен — живет роман.

Но прежде бывало (будем справедливы) — люди действительно не ведали, что творят. И как аукнется. Чем отзовется их «романтика» борьбы с «дикой природой». Сегодня же...

Каждую (каждую!) минуту 50 гектаров леса уничтожаются. Почти половина из них — тропического. Где-нибудь по Амазонке, а это значит, вместе с флорой гибнет и уникальная фауна.

Словно донесения, реляция с места затажных, неутихающих боев (а война-то, оказывается, «мировая», планетарная!). Согласно «стратегическим данным», если и впредь столь же успешным будет наступление на природу, через каких-то 20—30 лет исчезнет 50% видов растительного и животного мира. Вот насколько сузится плацдарм живой жизни, без которого и человеку на планете не удержаться.

Как не вспомнить тут, кое-кому казавшиеся интеллигентски-наивными, швейцеровские призывы к благоговению перед всем живым. Сегодня это уже не «роскошь духа», такая бережливость, благоговение, а условие выживания самого человека. В связи с этим как не радоваться, что кто-то где-то (например, в школах подмосковного Пущина) детей учит быть людьми через добрые дела на природе, пробуждая в них «доброту сильного», сострадание, сопереживание любому деревцу-листочку, жучку-букашке.

Транснациональные корпорации, протягивающие ненасытные щупальца к мировым запасам земных недр и безжалостно отравляющие все и вся, рвущие в клочья озоновый щит над планетой продолжающиеся ядерные испытания, как и любые ракетные игрища в космосе (а что последует, если «стратегическая оборонная инициатива» Рейгана перейдет в стадию испытательных ядерных взрывов на космической высоте!), — так вот, побочный продукт всей этой «деятельности» — фосген и другие ядовитые газы, знакомо именуемые БВО (боевые отравляющие вещества)! Ученые с тревогой замеряют их и отмечают возникновение и наличие в атмосфере газов, доселе неизвестных. На земле комбинируют бинарные и тому подобные БВО — для «противника», «для империи зла». А там, на высоте, возникают, кипятся — для всех. Человечество уснет, даже не заметив! — предупреждают ученые. И снова роковая цифра — 30 лет или чуть больше.

Хватает и без того традиционных причин, поводов для взаимных обвинений, конфликтов, чтобы еще и экологические претензии излиш-

не заострять, вытаскивать наверх. И все же, и все же: если тебе отданы на сбережение амазонские «легкие планеты» — необозримые пространства лесов — ты, именно ты в ответе за дыхание планеты. Так же и с пресной водой, и с плодороднейшими черноземами — имей чувство ответственности перед всем родом людским.

Не этим ли, пусть обходным, путем выходить и к проблемам ядерного разоружения? Здесь чувство рода, общечеловеческий интерес, как говорится, за горло берет! Тут уж все очевидно: если дышать, то всем, а если задыхаться — тоже всем. В документальном фильме «Василь Быков», созданном В. Дашуком, на очевиднейшую эту дилемму последовала горькая догадка-реплика писателя: ну и что, мы задохнемся, зато и вы тоже!

Неужто на самом деле такова сила, необратимость взаимных претензий, споров — о словах, понятиях, «ценностях»?..

А все-таки «экологическая бомба», тоже грозная, больше допускает односторонних, далеко идущих действий, чем это наблюдается в сфере ядерных интересов. И этим надо бы немедленно воспользоваться — для общих проектов совместных действий. Что, возможно, помогало бы находить общий язык и в других делах. Действительно, никто не станет губить свою реку, озеро только потому, что сосед свои уже загубил. В ответ, так сказать. Или выжигать свои леса, чтобы опередить другого, других. Здесь гонка бессмысленна еще более, чем бессмысленная гонка вооружений.

Вот они — важнейшие глобальные проблемы, все более смыкающиеся в человеческом сознании. Так что «военной» и «деревенской» литературам, все более открыто выходящим к этим проблемам, идти в тесном взаимодействии просто необходимо.

В фильме Элема Климова «Прощание» (по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой») «пожегщики» расправляются с листовнем все более азартно, умно, распалая самих себя... так и хочется сказать: как каратели в его же последнем фильме. А ведь действительно: не выступает ли человек по отношению к природе все более в роли, да, страшно сказать, — карателя? Заметьте, та же психология: чтобы жить, прожить свой срок (или хотя бы «до вечера», как часто бывало у настоящих карателей), одним словом — жить как набежит, человек в часы, минуты истребляет то, что природой копилось миллионы лет, походя растаптывает живое, растущее. А если «временщикам» приходится оправдываться — те же «аргументы». Мне приказали, я птица маленькая! Или наоборот: сам я мухи не обидел (лишь приказывал, разрабатывал, одобрял-воспевал). И вроде бы нет виновных.

Когда-то Джон Мильтон, автор «Потерянного рая», «Возвращенного рая», говорил, что убить книгу — то же самое, что человека убить. То есть они живое — книга, литература. Но живое умеет и убивать. Только не дело это литературы. Уж кому-кому, а ей в таких делах никакого оправдания. Отныне лишь жизнь сохраняя, оберегая, она сохранит и себя, свое значение.

История распорядилась, чтобы мы по-хозяйски отвечали за 1/6 часть планеты, в полном порядке передали бы из рук в руки потомкам. Сохранив не только богатство, но и красоту земли. Кому много дано, тот спрашивать с себя построжее обязан.

1985

## «КАКОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ ПРОЗА (ЛИТЕРАТУРА) БУДУЩЕГО?»<sup>1</sup>

Ей быть именно такой (и в такой степени ж и в ы м с л о в о м своего времени), каким будет ее участие в спасении этого самого будущего. Качество, истинность, масштабность художественного слова всегда связаны (напрямую) с силой творческой самоотдачи. Потому что, не живя главным, истинно важным, не может литература к себе относиться всерьез. О, это очень важно — самоуважение литературы. Но чтобы уважать свое дело, она должна сознавать, что не пустяками занята, озобочена. И иметь то, обладать тем, что в людях называют х а р а к т е р о м.

Самоуважению литературу обучал еще Пушкин. Собственным поведением художника. Он не один и не два раза выходил к барьеру — на «дуэль» с самим царем, лицом к лицу с теми, кто от «пиита» привычно ждал почесывания с а н о в н ы х п я т о к. Невольник чести? — да, именно чести, но не только семейной, сословной, а и писательской.

Литературу приучал к самоуважению Достоевский, учил за ближайшими целями и интересами различать самые дальние цели и устремления человечества, за происходящим — непреходящее. Действительно, распятым на кресте современности художник (как Достоевский), всегда тем самым и приподнят, видит дальше, далеко!..

Учил Толстой: быть адвокатом, преданным, несгибаемым, интересов народного большинства, и не только своего Отечества, но и всего человечества. Сплачивать добро против сплоченного зла.

Это действительно было поразительно, как сплоченно реагировали на слова Толстого все эти между собой враги — кайзеры, цари, президенты, шахи-падишахи, все они заодно начинали действовать, стоило услышать, что кто-то отвергает их право утверждать свою «правоту» перед всеми остальными посредством убийств...

Учил Твардовский уважать право и обязанность литературы быть равной самой действительности, равной реальной истории. Лишь подтвержденная большой литературой, искусством историческая реальность прошлого устойчиво живет в будущем. Без такого «закрепителя» пленка исторической памяти засвечивается начерно или почти начерно.

---

<sup>1</sup> Ответ на анкету журнала «Литературное обозрение», 1985.

Исчезают из памяти человечества не только отдельные события, но целые народы, эпохи.

Ну, а если говорить конкретнее, а именно о военной нашей литературе, которую уже называют великой (в статьях, выступлениях Д. Гранина, Л. Лазарева), куда ей расти, если иметь в виду положение именно в е л и к о й л и т е р а т у р ы? Я за такой вот критерий, подсказываемый классикой: по-настоящему великое произведение, открыв тему, ее же и з а к р ы в а е т. Если не навсегда, то надолго. Как «Война и мир» — тема Отечественной войны 1812 года.

Критерий действительности литературы в наше время, уплотнившееся почти до «критической массы», — важнейший критерий. Сказать: тему закрыл — означает: сделал все, что только мыслимо на данном «направлении».

Лишь сто лет спустя русский писатель напрямую обратился к теме, открытой (и закрытой) в русской прозе Львом Толстым, — Булат Окуджава в романе «Свидание с Бонапартом». Но смотрите, как он это сделал: совершенно не скрывая, что образы и картины Толстого, атмосфера толстовской эпопеи были для него, являются основной «реальностью» (как и для каждого из нас: другой реальности 1812 года мы не знаем и восприняли бы ее с немалым, очевидно, сопротивлением).

Закрыть тему, ну, не по-толстовски, а хотя бы относительно закрыть, — возможно это для нас и в наше время? Когда дело касается такого сложнейшего и масштабнейшего события, как наша Отечественная война 1941—1945 гг.?

Все оправдываемся, слыша упреки, что читатель не получил, не имеет новой «Войны и мира»: будет, будет, дескать, потерпите! Не индивидуальная, так коллективная. Уже пишется. Многие «главы» написаны...

Если это истинно так, тогда тем более важен критерий, о котором говорилось выше. Никому в отдельности не «закрыть» тему Великой Отечественной: не те мы и не та Отечественная! Но «закрыть» хотя бы «направление» своей повестью-«главой», романом-«главой» — об этом можно мечтать и размышлять. И имеем основание. Вот Вячеслав Кондратьев — он открыл ржевскую тему, ржевское «направление» в нашей прозе. А это особенная страница, глава минувшей войны — все, что в сознании военного поколения сопрягается со словом «Ржев». Не слово это для нас, а уже знак, примета войны особенно безрадостной, утопающей в болотах и позиционном истощении, голодной и безнадежно кровавой...

В. Кондратьев тему открыл, она его поволокла, тащит уже столько лет.

Конечно, количеством повестей и рассказов ничего исчерпать невозможно. Зато «Селижаровский тракт», «Сашка» и то, что на этом уровне у Кондратьева, — движение в этом направлении. Кажется, чуть-чуть еще и...

О, это особенное чувство, состояние для писателя: тянуться-дотягиваться к исчерпывающему воплощению, выражению. Делая «Блокадную

книгу», мы с Д. А. Граниным не единожды окидывали мысленным взором собранное и отработанное, вслушиваясь в материал, ощупывая и прощупывая: скоро ли самовозгорится? Как влажное зерно или сено. Только зерно, сено, если самовозгораются,— это плохо, беда, а здесь именно то, что надо, к чему стремились. Чтобы из количества, из отбора, монтажа родилось новое качество. Жанровое, художественное.

Когда Элем Климов начинал работу над фильмом «Иди и смотри», у него были свои представления о пределах, к которым устремлялся. А я, работая с ним, и думал и говорил вот о чем еще: дай-то бог, чтобы фильм получился такой, после которого не скоро решатся снова обращаться к этой теме. А то ведь в какие только ленты не вставляли наскоро и все снятые «хатынские эпизоды». Кошунственно, а «запретить» можно одним только способом: художественно исчерпывающим воплощением. С помощью того же кино, но сказавшего свое слово не походя, не спекулятивно, а на крике живой боли, ожога.

Чтобы тему действительно «закрыть» (одним или суммой произведений), надо попытаться правде взглянуть в глаза безбоязненно, по-климовски упрямо не отводить взгляда от всей правды.

Это умел делать Константин Воробьев. Сколько написано о фашистском плене— до него и после. Но перед глазами— картины его Ада...

Открыта и уже близка была к исчерпанности тема солдатских окопов и лейтенантских блиндажей, кровавых высоток и бесконечных фронтовых дорог, литература «исповедальная», литература личной памяти. Ее заново продлил В. Кондратьев, ее по-новому углубляют Быков и Астафьев, Бакланов и Богомолов— средствами все большей правды, все более народной правды-памяти. Новым исчерпанием.

Минувшая война, особенно ее болезненные точки— кровотокающая рана нашей памяти, народной, исторической. Но и она, как и все остальное, эстетически исчерпаема. Ну, хотя бы в основном русле. Другое дело, что эту тему подпитывает (и все более напорно) не спадающая волна планетарных тревог нашего времени— неоступная мысль о войне следующей (совмещенная с мыслью об экологическом крушении «космического корабля Земля»).

Под стать времени, его масштабам и тревогам возник и развивается у нас на глазах новый канал коммуникаций— космические телемосты. Средство живого, прямого общения из любых точек земного шара больших человеческих масс.

Внутренне ахнули!— мое (и, видимо, не только мое) чувство, состояние, когда советский академик-термоядерщик Е. П. Велихов, глядя на себя самого, отраженного на огромном, с трехэтажный дом, видеоэкране под ночным калифорнийским небом, произнес в московской телестудии слова, ставшие сразу же крылатыми: ядерная мощь— не мускулы, не будем обманывать себя, она— раковая опухоль... И— внезапное удивление, смешанное с восторгом, единый порыв согласия на тысячах лиц

далеких американцев перед десятком суперэкранов, собравшихся на «фестиваль единства» под знаком музыки и электронных чудес, организованный на собственные средства Стивеном Вазьяном, изобретателем портативного персонального компьютера.

Их было ни мало ни много — 300 тысяч (!), перед которыми на гигантских телеэкранах (расставленных изобретательными, расторопными японцами на всех континентах уже во многих странах) вдруг появился советский человек, много-много русских, которые согласно всем стереотипам официальной пропаганды должны, обязаны где-то там, пока беспечные американцы веселятся, готовить им очередные каверзы, неприятности. Советские студенты, потом певица, дети! — и моментально стало очевидно, что понимание не только возможно, но и просится, рвется на лица, уставших от искусственного отчуждения, страха землян.

Это был телемост «Москва — Космос — Калифорния» — первый, затем второй, вот уже более десяти за последние четыре года! В этих встречах через космос было что-то, напоминавшее о встрече на Эльбе: через огромные выстуженные пространства и против, казалось бы, непреодолимого потока времени — туда, к голосам, объятиям, улыбкам созвонников!..

Та самая технология, которая поддерживает в боевой готовности ракеты, средства наведения и пр. и пр., может сослужить и другую службу, — например, позволяет через космос встретиться миллиону и даже миллиарду человек. Ты говоришь и видишь себя там, среди слушающих, космические мосты в один миг соединяют митинг с митингом, фестиваль с фестивалем, марш мира на одном континенте подключает-ся к маршу на другом...

В мае 1985 года интересное обсуждение эстетических, художественных перспектив нового канала связи состоялось в московском Институте искусствознания с участием кино- и телережиссеров, философов, инженеров-конструкторов, актеров, драматургов, писателей и т. д. Техническое открытие уже состоялось, за ним последуют (как когда-то произошло с «движущейся фотографией») открытия эстетические. И думается, что как кино и бытовое телевидение делали свои первые шаги и сегодня развиваются, опираясь в первую очередь на литературу, театр, так и на этот раз литература выступит в роли важнейшей, продуктивнейшей. Наряду с театром, кино, живописью и т. д. Но и сами они, давно и недавно развившиеся формы искусства, должны будут искать в себе новые возможности, вливаясь в невиданный канал всемирной связи.

«Искусство» космических телемостов (искусства этого еще нет и в помине, но ему неизбежно быть) — не ему ли стать новым акушером при важнейших, спасительных родах: на свет появится, должен наконец появиться человечество! Не только торгующее, «холодно» или «горячо» воюющее, но и обретшее наконец чувство всего живого — чувство самосохранения.

Как, как жить нам, людям, дальше, чтобы жить на этой планете? Человеку с человеком, народу с народом, системе с системой. Да неужто ничего не стоят уроки прошлой мировой войны?..

Представил, вообразил немецких туристов в Эрмитаже, в Ленинграде: вот что, вот какую красоту, какие богатства хотел у тебя, у немца, отнять солдат вермахта, когда обстреливал, душил блокадой этот город, стараясь выполнить приказ фюрера — все сжечь, удушить голодом, уничтожить!

Американцу, любящемуся сказочной архитектурой, памятниками древнейшей культуры японского города Киото: а ведь этого у тебя не было бы, ты, американец, лишился бы всего этого, если бы город разделил судьбу Хиросимы, как вначале и предполагалось, планировалось!..

А уж про самоё жизнь на планете и говорить нечего: общее наше богатство, общее и неделимое!

Вот и такая на семинаре в Институте искусствознания прозвучала мысль — в выступлении философа Ю. Карякина: опасность всеобщего уничтожения в ядерной войне способна как объединять людей в борьбе за мир, так и разъединять — страхом, недоверием. Но есть и еще одна опасность, угроза, такая же планетарная, которая, тоже пугая, подталкивает к согласованным усилиям всех без исключения, — экологическая угроза. Люди пока что этими проблемами-угрозами (ядерной и экологической) занимаются, обособляя их. А надо бы их соединить, объединяя усилия.

Действительно, как бы хорошо было посредством того же космического телемоста донести до сознания миллионов, миллиардов: какие еще «звездные войны», когда сама планета из-под ног уходит, воздух, воду, все, чем живете, если так будет продолжаться, потеряете? Спасайте то, без чего ни дышать, ни существовать — не до споров о словах, когда такое подступило!

Академик Б. В. Раушенбах, чей талант математика и механика помог человечеству впервые взглянуть на обратную сторону Луны, имеет, заслужил право на такой вот укор роду человеческому: современный человек действует (не считая редчайших исключений), как и его древние предки — не считаясь с глобальными последствиями своей деятельности. Как и в каменном веке, учитываются интересы только «своего племени».

И как вывод: «Космическая техника открыла и продолжает открывать для человечества дороги, ведущие к мирному объединению всех людей, и было бы трагической ошибкой не воспользоваться этим».

Участники упомянутого семинара в Институте искусствознания познакомились с первым рабочим вариантом сценария «Зеркало для человечества», и тут же стали возникать дополнения, изменения, новые ходы — у каждого согласно с его жизненным и профессиональным опытом.

Вопрос уже практически звучит, ставится: с чем выходить к миллиарду? О содержании и о жанрах, которые подходят или не подходят для такой невиданной аудитории.

И сразу же возникают проблемы: как повлияет этот совершенно новый вид коммуникаций на состояние, развитие художественного мышления, потому что, конечно же, его возникновение и функциониро-

вание повлечет за собой рождение каких-то новых видов, жанров искусства?

Н. Н. Каретников: «Зеркало для человечества» — вызов сознанию граждан планеты, вызов сознанию людей искусства».

Г. П. Борисовский: «Должно последовать *второе открытие* — уже в области искусства. А иначе техника так и останется техникой».

Аркадий Райкин: «Теперь же творцы этого удивительного «зеркала» позволяют людям, наделенным даром смешить, обрести новые возможности, чтобы сразиться с теми, кто наделен властью запугивать».

Люди, участвовавшие в первых сеансах космических телестовов, говорили о совершенно непередаваемых, ни с чем не сравнимых ощущениях, рождаемых «прямым экраном»: когда ты как бы везде, переносишься с континента на континент, вступая в прямой контакт с людьми, о существовании которых и не подозревал миг назад, а они, далекие и разные, с той же легкостью появляются рядом с тобой — пространственные стены рушатся, а с ними и многие иные, человечество делается менее абстрактным и более доступным каждому, становится осязаемой реальностью.

Сразу задумываешься: а как это повлияет на литературу? Другие говорили о театре, кино, музыке, архитектуре — как и с чем им предстать перед миллиардом и как подобное общение с человечеством повлияет на искусство — меня же интересовала прежде всего литература. Ну, а мы, мы — литераторы, готовы к такой встрече, к такому разговору?

Техническая возможность сотням, тысячам землян видеть друг друга, общаться непосредственно друг с другом, смотреть в глаза, небывалое состояние «дистанционной близости» (я тебя, вас вижу, слышу и знаю, что и вы тоже видите меня, можете, как при живом общении, сразу реагировать на действие и слово собеседника, который на другом краю земли) — это для артиста, и для ученого, и для писателя, для каждого человека просто-таки ошеломляющая возможность: общаться с человечеством непосредственно, с глазу на глаз! Какие же должны быть слова, какая литература! Какая честность и правда! (Лгать в глаза миллиарду — каким же надо быть планетарным Хлестаковым.)

Литература будущего — какая она будет? Знать это конкретно не дано. Но кое-что и дано, если исходить из уже очевидных посылок.

Литература жива лица не общим выражением (индивидуальным, национальным), но по-разному бывает повернуто это лицо. В ы р а ж е н и е зависит еще и от того, к кому лицо обращено, повернуто. К человечеству! — если у людей есть завтрашний день, то именно такой быть ей, литературе.

Всеми силами способствовать, помогать человечеству возникнуть, стать, быть! Лишь возникнув по-настоящему, человечество спасет себя. Вот этому служить. И не только завтра, в будущем, но и сегодня.

«...в наше время стоит посвятить жизнь тому, чтобы спасти саму жизнь на земле. Нет цели важнее». (М. С. Горбачев).



## **ВНИМАНИЕ НОВИНКА! — «СПЕКТР-Ц280Д»**

На прилавках магазинов появился новый цветной телевизор «Спектр-Ц280Д».

Отличительная особенность нового телевизора — применение импульсного источника питания и новой элементной базы. Это значительно уменьшило его габариты, массу, потребляемую мощность, увеличило надежность.

Выбор восьми программ осуществляется с помощью сенсорного переключателя. К телевизору можно подключить магнитофон для записи звукового сопровождения передач, видеомагнитофон, головные телефоны.

Конструкторы и дизайнеры нового телевизора сделали все, чтобы он отвечал современным требованиям. Новинка, несомненно, вызовет интерес у покупателей.

Цена — 755 руб.

**ЦКРО «Радиотехника»**